

Максим Горький

Жалобы



Максим Горький

Жалобы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=636745

Аннотация

«Мой собеседник – офицер, он участвовал в последней кампании, дважды ранен – в шею, навывлет, и в ногу. Широкое, курносое лицо, светлая борода и ошипанные усы; он не привык к штатскому платью – постоянно оглядывает его, кривя губы, и трогает дрожащими пальцами чёрный галстук с какой-то слишком блестящей булавкой. Подозрительно покашливает, мускулы шеи сведены, большая голова наклонена направо, словно он напряжённо прислушивается к чему-то, в его глазах, отуманенных усталостью, светится беспокойная искра, губы вздрагивают, сиповатый голос тревожен, нескладная речь нервна, и правая рука всё время неутомно двигается в воздухе...»

Содержание

I	4
II	28
III	47
IV	68

Максим Горький

Жалобы

I

Мой собеседник – офицер, он участвовал в последней кампании, дважды ранен – в шею, навывлет, и в ногу. Широкое, курносое лицо, светлая борода и ошипанные усы; он не привык к штатскому платью – постоянно оглядывает его, кривя губы, и трогает дрожащими пальцами чёрный галстук с какой-то слишком блестящей булавкой. Подозрительно покашливает, мускулы шеи сведены, большая голова наклонена направо, словно он напряжённо прислушивается к чему-то, в его глазах, отуманенных усталостью, светится беспокойная искра, губы вздрагивают, сиповатый голос тревожен, нескладная речь нервна, и правая рука всё время неутомно двигается в воздухе.

– Чудесно! – говорит он, положив ладонь на стол, – маленький стол наклоняется, поднос с чашками и стаканами едет к нему на колени. – А, чёрт! Извините. Хорошо-с, чудесно! Значит – народ? Не верю!

Дёрнув головой вверх, он сечёт рукой воздух, как бы отрубая что-то, и внушительно продолжает:

– Я служу одиннадцать лет, я-с видел этот самый ваш на-

род в тысячах и в отборном виде, так сказать, всё экзemplяр-
чики в двадцать – двадцать шесть лет – самые сочные года –
согласны? Так вот-с – не верю!

Он пристально смотрит в лицо мне, усмехаясь тяжёлой,
тоскливой улыбкой.

– Вы думаете, я скажу – глуп? Ах, нет, извините, он не
глуп, – ого! Очень способные ребята, да, да, очень. Даже эти
татары и разная мордва – отнюдь не глупы и превосходно
шлифуются в строю среди русских. Но всё это народ, кото-
рый не чувствует под собою земли – не в каком-то там рево-
люционном или социальном смысле – в этом смысле у него
земля есть! И работать он на ней мог бы! Китайцы, батень-
ка мой, на площади в десять сажен квадрата кормятся пре-
восходно, э-э? Нет, это вы сочинили насчёт земли и прочее,
это вы – чтобы подкупить его! Земля у мужика есть в этом
смысле, в почвенном, хозяйственном. Но у него нет земли
в... как это сказать? в духе, что ли бы? У него нет ощущения
собственности, понимаете? Он не чувствует России, русской
земли, вот в чём суть! Спросите мужика – что такое Россия?
Ага! У русского мужика нет ощущения России – вы это по-
нимаете? Он, например, скверно работает, как доказано, он
и сам знает, что работает хуже, чем мог бы. Почему? А зачем
работать хорошо человеку, который не знает, кто он, где он и
что с ним завтра будет, – зачем? Ему – лишь бы покормить-
ся. Он и не живёт, а – кормится... Больше ничего! Позволь-
те, дайте сказать!

Он поднял обе руки к небу, надул щёки и несколько секунд помолчал, словно молясь в отчаянии.

– Я знаю – вы хотите сказать: образование, культура и так далее. А зачем ему образование и культура, если он не имеет угла, нет у него... пункта, куда он мог бы приложить эту культуру вашу? Он – ничего не хочет, он не любит учиться, не нужно ему это... не нужно!

Быстро выпив стакан вина с водой, он продолжал торопливо, точно усталый раздевался, чтобы поскорее лечь.

– Весь русский народ – нигилист, – резко? Верно-с! Он ни во что не верит. Он – в воздухе висит, народ этот. Он? Самый противогосударственный материал, и никакого чёрта из него не сделаешь, хоть лопни. Дресва. Рыхлое что-то, навеки и век века – рыхлое...

Видимо, он много думал о том, что говорил, и, хотя его слова были истёрты, безличны, стары, но в голосе и в каждом жесте чувствовалась та сила убеждения, которая даётся многими бессонными ночами, великой тоской о чём-то, чего страстно хочется, но что, может быть, неясно сознаёт человек.

– Мне кажется, – говорил он, дёргая шеей и прикрыв глаза, – что я однажды видел весь народ в аллегорическом человеке – в запасном солдате, новгородце. Станный случай, знаете, но бывает это – перейдёт вам однажды человек дорогу, а вы помните его почему-то всю жизнь. Так и тут – мне пришлось быть в Старой Руссе, во время мобилизации; стою

на платформе, сажают солдат в вагоны, бабы ревут, пьяные орут, трезвые смотрят так, точно с них кожу сдирать будут через час. Сразу, знаете, видно, что народ, понимаете – народ! – собирается защищать свою страну от коварного врага и так далее. Чёрт! Между прочими прискорбными рожами вижу одну – настоящий эдакий великорус: грудища, бородища, ручищи, нос картофелиной, глаза голубые и – это спокойное лицо... эдакое терпеливое, чёрт его возьми, лицо, уверенное такое... уверенное в том, что ничего хорошего не может быть, не будет никогда! Держит за плечо свою оплаканную, раскисшую в слезах бабёнку и внушает ей могильным голосом, но – спокойно, заметьте, спокойно, дьявольщина, внушает, кому что продать, сколько взять и прочее. Никаких надежд на возвращение, видимо, не питает, и не мобилизация это для него, а – ликвидация жизни, всей жизни, понимаете! Очень приятно видеть эдакое... этот анафемский фатализм, с которым человек отправляется на бой, на борьбу! Вы понимаете – фатализм и борьба, а? Соединение огня с водой дает пар, а тут уж чистый нигиль! Нуль, дыра бездонная! Я ему говорю: «Что ж ты, братец мой, так уж, а? Отправляешься на эдакое дело, а духа – никакого! Надо, братец мой, дух боевой иметь, надо надеяться на победу и возвращение домой со славой! Надо, мол, исполнять долг с жаром, с огёем и страстью! Для родины это, пойми...» – «Мы, говорит, ваше благородие, это понимаем! Мы, говорит, согласны исполнить всё, что прикажут». – «Да ты, говорю,

сам-то как – хочешь победы?» – «Нам, говорит, не то что победа, а хоть бы и совсем не воевать». Тьфу! Тут его унтер пихнул в вагон.

Офицер волновался почти болезненно: на лице у него выступили багровые пятна, щёки дрожали в нервных гримасах, в глазах неукротимо разгоралась скорбь, и правая рука билась в воздухе, как разбитое крыло большой раненой птицы.

– Чудесно! Подал я прошение о зачислении добровольцем в действующую армию, зачислили, дали роту, еду догонять её. Догнал в Челябине, смотрю – этот новгородец тут. Ба, думаю.

Почему-то сделал вид, будто не узнаю его, а он сразу меня узнал и – ест голубыми спокойными глазами. Неприятно это, знаете. Разумеется – дисциплина, полное подчинение начальнику – это необходимо, но – вложи сюда немного своей души, своего разума, не садись ко мне на плечи, не выдавай себя за дитя какое-то... Вообще – будь жив! Будь человеком несколько... сколько можешь! А так, знаете, когда на тебя смотрят двести с лишком пар голубых глаз и каждая без слов говорит – делай со мной, что хочешь, – мне всё равно... это, знаете, ни к чёрту не годится! Это сразу налагает на вас как бы тяжелейшие цепи ответственности за всех и каждого... это уж требует Наполеона, которому тоже всё равно! Наполеон – с единицами и сотнями не считается. Наполеон живёт Францией, ради Франции. Среднему человеку – не по

силам такое отношение к нему двух сотен взрослых людей, хотя бы он и жил Россией. Я, впрочем, не знаю, что такое – средний человек, может быть, лучше, чтоб его не было. Чёрт знает... вот я, например, люблю Россию, сердечно люблю, ей-богу, желаю ей славы, богатства, счастья, готов на всё для этого... что там! Но – что же я всё-таки могу? Средний человек, я иногда с изумительной ясностью чувствую, что у меня нет головы, нет мозга, – понимаете? Это не смешно. То есть идиоту или нахалу это может показаться смешным, но – идиоты и нахалы всё-таки, мне кажется, ещё не большинство населения империи нашей. Да, так вот: голова, а в ней что-то шевелится, словно кошка играет клубком серых ниток и перепутала их, дрянь эдакая! Разве это – смешно? Эх, батенька, чёрт его знает как иногда жалко себя и всё это вообще... всю эту жизнь... Я, знаете, консерватор, в Европы не верю, – впрочем, я не знаю, во что верю... я простейший консерватор, черносотенец, по газетам. Но иногда вдруг мне кажется, что я отчаяннейший революционер... да! Революционер, потому что всех жалко: всех этих средних, ошарашенных людей, которые делают революции, реакции, погромы и всякие гнусные штуки в обе стороны, направо и налево. Потому ясно видишь – всё это на песке, всё в воздухе: в России нет фундамента духовного, нет почвы, на которой можно строить храмы и всякие дворцы разума, крепости веры и надежды, – всё зыбко, сыпуче, всё дресва и – бесплодно. Хочется сказать какое-то слово – братцы, что вы делаете?

А вдруг они спросят – что надо делать? Издыхаешь в тоске и – молчишь. Такая страшная скорбь схватит за сердце, так нестерпимо жалко Россию эту – кричать хочется, орать, бить башкой об стену... Стена – живое человеческое тело, в случае, о котором вся речь, – это моя рота.

– Еду я с ней по Сибири – смотрю, какой хороший, серьёзный народ! Немножко печальны, подавлены – это допустимо, это естественно, я понимаю, бог мой! Обо всём, что касается деревни, судят резонно, ясно, с глубоким знанием дела. Но! Сейчас же является эта окаянная петля, это кольцо – чёрт его знает, что оно такое – нигилизм, фатализм восточный? Жалуется мужик – овраги одолели, рвут и рвут пашню. Укрепи! Да как его укрепишь? Научись! Молчат. Вздыхают.

– В вагоне грязно, накурено, насорено – если не указать на это, они не видят, расковыривают зачем-то скамьи, соскребают со стен краску, плюют куда попало. Отношение ко всему – мерзейшее: на станциях отламывают крышки кадок с водой, чёрт знает зачем хлопая ими во всю силу; ломают деревья, гадят везде безобразно и вообще имеют вид чужих людей в чужой земле. Так себе – проезжают мимо. Мимо! Дорогой приходилось разговаривать с ними и, знаете, хотелось! Ведь с этими людьми назначено мне жить и умирать, я должен руководить ими в борьбе против врага и прочее... До некоторой степени я зависим от них. «Итак, ребята, говоришь им, мы едем защищать Россию». Смотрят внимательно, а глаза – чужие, и нельзя понять, что, думают эти лю-

ди. «Вы понимаете – что такое Россия, родина?» – «Так точно», – говорят некоторые. «Что же такое родина, Швецов?» – это тот самый новгородский, голубоглазый. Надо вам сказать, что он сел мне в голову сразу и глубоко... да я уж говорил это! «Ну, Швецов?» – «Никак нет, ваше благородие!» – отвечает он – правдиво говорит, чёрт побери, сразу видно, что от души. Надо объяснять. А признаться, я сам до той поры об этом предмете не думал: Россия, ну и чудесно! Границы такие-то, царствующий дом, армия и прочее. Не более. Но о том, что армия из народа выцежена, и о том, что такое этот народ по своему духовному строю, – не приходилось думать... «Русский народ добродушен и белокур» – это я, конечно, знал, но что он не весь белокур и не совсем добродушен, это мне не приходило в голову. Чудесно. И вот, сидя на станции в ожидании дальнейшего движения, веду я речь о России, о её целях в Тихом океане – газеты я читал и насчёт Тихого океана что-то знал тогда. Говорю-с. Кончил. «Поняли?» – «Так точно, ваше благородие!» – отвечают мне эти русские люди, которым необходимо выйти на берега Тихого океана, отвечают – дружно, а я вижу, что – врут: ничего не поняли и нимало не интересно им всё это. Швецов этот, так он, знаете, демонстративно ничего не понял: прижимает меня голубыми глазами своими в угол и, видимо, что-то хочет спросить, но – не решается, что ли. «Ты понял, Швецов?» – «Никак нет». – «Почему?» – «Так что, ваше благородие, ежели взять всю землю, как волость, примерно, то хоша де-

ревни разные, однакож мужики везде одинаковы, и все, стало быть, вроде как шабры на земле, а ежели деревня против деревни в колья пойдёт, то, надо думать, никакой жизни и выгоды никому не будет, а только драка и кровопролитие...»
Ох!

Офицер схватился за голову и, качаясь, застонал.

– Ну – глупо же! Может быть, с вашей точки зрения но... очень добродушно и по-христиански, но ведь дико же это! Мертво это! Врёт ведь, чёрт его дери, – пойдёт он в колья, ходил ведь против шабров и – пойдёт... И я вижу, что его – понимают, а на меня смотрят так, как будто хотят сказать: «Что, брат? Ну-ка?» Чужие, чужими глазами смотрят – желал бы я вам это почувствовать. Да-с! Но – бросим это, бросим! Я скоро прекратил свои беседы, потому что однажды слышу – говорят про меня эти люди:

– Ничего он, так себе, только – вот душу вытягивать любит. Присосётся и – сверлит языком, и сверлит! «Чёрт вас побери», – думаю. Да...

– Другой раз, во время стоянки, вижу – собралась кучка моих ребят, в середине – Швецов, на ладони у него – земля, он растирает её пальцами, нюхает, словно старуха табак, и говорит какие-то корявые слова. В чём дело? «А вот, ваше благородие, Швецов насчёт состава земли разъясняет». – «Что ты тут разъясняешь?» Он спокойно – спокойно! – начинает говорить незнакомыми мне словами о земле, которая как-то там землится, о землистой земле, о землеватости,

и все с ним соглашаются, а я ничего не понимаю, и все это видят. Начинаю я свою речь о необходимости защиты земли, боя за землю, а они мне: «Мы, говорят, за неё, ваше благородие, всю жизнь бьемся, мы её защищать готовы!» Выходило смешно, жалко и досадно.

– Одним словом, мне вскоре стало совершенно ясно, что я еду драться, с людьми, которые не понимают, зачем нужно драться. Я должен внушить им боевой дух... должен! Они же не верят ни единому слову моему, и как будто в глубине души каждого живёт убеждение, что эта война – мною начата, мне нужна, а больше – никому. Иногда очень хотелось орать на них. А главное – этот спокойный Портнов... Швецов – смотрит и – молчит. Молчит, но рожа такая – на всё готовая: я, дескать, всё сделаю по твоему приказанию, всё, что хочешь, но мне – ничего не надо, я ничего не знаю, и отвечай за меня – ты сам.

– И вот с этими на всё по чужому приказанию готовыми людьми попал я в свалку: наш батальон прикрывал отступление из-под Мукдена, сижу я со своей ротой в кустах и ямах на берегу какой-то дурацкой речки; вдали, по ту сторону, лезут японцы – тоже очень спокойные люди, но – с ними спокойствие сознания важности того, что они делают, а мы понимаем свою задачу как отступление с наименьшими потерями.

– Береги патроны, – говорю я своим. Берегут. Оборванные, грязные, усталые, невыразимо равнодушные, лежат и

смотрят, как там враг перебегает поле цепь за цепью, быстро и ловко, точно крысы... Где-то сзади нас действует артиллерия, справа бьют залпами, скоро и наша очередь, дьявольский шум, нервы оцепели, голова болит, и весь сгораю, медленно и мучительно поджариваясь, в эдакой безысходной, ровной, безнадёжной злобе.

– Сзади меня убедительно спокойный голос Швецова слышу: «Народ – лёгкий, снаряжение хорошее, а главнейше – свои места, всё наскрозь они тут знают, каждую яму, всякий бугорок – разве с ними совладаешь? И опять – на своём месте человек силен, на своём-то, на родном, он – неодолим, человек этот!» Люди сочувственно крикают и сопят, слушая его рассуждения.

– Ну, знаете, я сказал этому господину, что если он не перестанет, так я его – и приставил к деревянной роже револьвер. А он вытаращил голубые свои глаза по обеим сторонам дула и говорит:

– Зачем же вашему благородию трудиться, меня и японец убьёт!

– Стало мне стыдно, что ли... и не знал бы я, как выйти из дурацкого положения, но тут явился приказ – отойти нам глубже. Отошли, как и пришли, без выстрела, и вообще мы – моя рота – некоторое время играла странную роль: всё водили нас с места на место, точно речи Швецова были известны высшему начальству, и оно, понимаете, заботилось поставить роту именно туда, где бы мои ребята почувствовали

себя на своём месте. Ходим голодные, оглушённые, усталые, видим, как летают казаки, прыгает артиллерия, едут обозы Красного креста... Хорошо-с!

– Ночь пришла. Лежим в каких-то холмах, а на нас – лезут японцы. Лезут как будто не торопясь, но – споро, отовсюду, без конца. И вот вижу – это, знаете, как сон было: идёт полевик к нам какая-то часть, а на правом фланге её вдруг вспыхивает огонёк, и я с ужасом вижу – освещённое этой вспышкой круглое монгольское лицо, – курит, дьявол! Зачем он закурил – я не знаю, было ли это сделано, чтобы доказать своим солдатам – вот, мол, как и храбр, или он обалдел от страха, но – курит! Со всех сторон жарят залпами, моя рота тоже, конечно, а эти идут, и, знаете, страшно медленно шли они, как мне казалось, изумительно! Как будто они там все знают, что их дело верное, беспроигрышное дело и торопиться – некуда. Конечно, на самом деле было иное, но мне так казалось, говорю я. И эта дьявольская папироса там, в темноте, горит, вспыхивает так ровно, уверенно и спокойно – видно, что она доставляет удовольствие человеку. В неё стреляют, и я советую – ниже брать, чтобы в грудь, в живот ему всыпалось несколько штук, – идёт! И видно – докурил, бросил в сторону, кругло эдак очертилась в воздухе огненная полоска. Вам это кажется несерьёзным, пустяками, ну – да, оно и несерьёзно, незначительно, оно просто указало мне, что я – не закурил бы перед тем, как скомандовать в штыки. У меня нет спокойствия, необходимого для того, чтоб покурить пе-

ред смертью, нет уверенности, что... д-да... Я – чужой своим людям, и ни страх пред смертью, ни что другое не связывает их со мною. Мы – люди разных племён по духу, они – солдаты, я – их начальник, больше ничего. Я их не понимаю, они – меня, нам друг друга не жалко, мы – сказать правду – не любим и немножко боимся друг друга...

– Был случай: поймали китайца-шпиона, и вот – сидит он на земле, около него двое конвойных – Швецов этот и Хубайдулин, татарин. Слышу – Хубайдулин ведёт с китайцем вполголоса, на эдаком дурацком языке, дружескую беседу:

– Твоя земля хоруша есть...

Китаец отвечает, точно Швецов:

– Ваша моя чисто зорил – кончал моя.

А Швецов говорит:

– Мы, брат, тут ни при чём... Приказано – иди! Вот и пришли. Мы сами – земляной народ. Мы понимаем. Мы – и так далее... совершенно в том тоне, как говорят мужики из рассказов старых писателей. И – врёт, наглейше врёт. Потому что мне лично слишком часто приходилось видеть, как они – не он, его я не обвиняю, – но вообще они, наши солдаты, зорили хозяйство маньчжур... без необходимости, бессмысленно и с какой-то тупой злобой. Вырубали десятки деревьев, когда нужен был один сучок, жгли фанзы, топтали посеы, ломали мебель... да, да. Всё это было, вы знаете, должны знать. Об этом ведь писалось много. Я повторяю, что и дорогой в Россию они вели себя так же – портили всё, что

могли испортить. «Нищему – ничего не дорого» – есть корейская пословица, так вот... может быть, несколько оправдывает этих... У меня выболела душа и на языке вертятся слова, нехорошие, больные слова...

– Я слышу всё это и думаю: хорошо, милые мои. Всё это так, всё это – по-христиански, но – отдалённо от нас... Мы – воюем.

К вечеру дело этого китайца было решено; позвал я унтера и приказал:

– Возьми Швецова, Хубайдулина и – расстрелять шпиона!

– Пошли. Спокойно! Я, издали, за ними. Был вечер, половина неба в огне, около какой-то стенки стоял этот китаец, лицом к солнцу... рослый такой молодчина! Против него, затылками ко мне – эти двое. Выстрелили, китаец посунулся вперёд, точно кланяясь им – прощайте! – и упал, лицом в землю. Опустили ружья к ноге, стоят. Всё вокруг красное, и – они тоже. Там, знаете, закаты солнца всегда зловещие какие-то, точно оно, уходя, злобно грозитя – спрячусь – навсегда! Навсегда!..

– Ночью этой не спалось мне. Играли в карты, скучно стало, бросил я, вышел. Долго ходил, как во сне, потом вижу – Швецов около какого-то дерева стоит и – молится. Так, знаете, согнул шею, как подъяремный вол, наклонил голову к земле и тыкает рукой своей в лоб, плечи, в грудь себе. Не торопясь. Услыхал мои шаги, обернулся, вытянулся. Подошёл я к нему – вижу парень как всегда, в порядке. Спросил о

чём-то. «Так точно. Никак нет». Тогда я говорю в упор ему:

– Жалко китайца-то, а?

Подумав, отвечает:

– Маленько жалко будто.

– А не убить – нельзя ведь?

– Так точно.

– Почему нельзя?

– Как, значит, шпиён...

– И я чувствую, что он говорит то, с чем не согласен, что ответственность за эту смерть он целиком возлагает на меня, да, только на меня одного. Его деревянное лицо по-своему вполне красноречиво, и тупой этот, покорный, воловий взгляд – осуждает меня.

– Ах, я много мог бы рассказать мелочей, подобных этой, и не об одном Швеце, конечно... Но это его молчание, его покорная готовность сделать всё, что прикажут, и во всём оправдать себя, и ото всего отодвинуться... он наиболее типичен... да.

– Видел я в Нагасаки одного француза – военный корреспондент он был, что ли, или какой-то агент. Бог его знает! Знаете, у французов есть такие лица – острые, точно чеканенные, – взглянешь на него и – думаешь: вот умный человек, прежде всего – умный. Как это у них – *spirituel*, *intelligent*?¹ Так вот, такой *spirituel* – стоит на перроне, сунув руки в карманы, и смотрит зоркими глазами сквозь пенснэ,

¹ Умный, интеллигентный — *Ред.*

как наше пленное воинство садится в вагоны, и – насвистывает похоронный марш, чёрт побери! Да! Я подумал тогда – fine l’alliance!² Какое удовольствие и польза быть в союзе с людьми, которых бьют, а они – равнодушны? Которые не понимают, за что их бьют, за что они должны бить, и – вообще ничего не хотят понять? С той поры прошли годы, альянс – существует. Vive la France, vive la Russie³ – всё в порядке! Но – поверьте мне, скоро мы останемся одни-одинёшеньки, представляя собою болото, которое будет ограждать Европу от нашествия монголов, как ограждало её в давние времена, и в этом наша роль вовеки и век века. И ограждать будем пассивно: дойдут до нас монголы и увязнут среди нас, точно в болоте, – вот так же, как мордва увязла. Пессимизм? Нет. Просто я соприкоснулся со своим народом и стал фаталистом. Мы все – фаталисты, нигилисты – ах! Довольно...

...Знаете, иногда во время ученья ротного посмотришь на эту холодную стену чужих тебе людей и, тоскуя, пошутишь: – Эй, ты, фаталист, подбери живот!

...Как я попал в Нагасаки? Очень просто. Этот самый Швецов великодушно сдал меня в плен японцам. Именно – сдал. Случилось так, что меня ранили в шею вот и в ногу, да колено ушибли прикладом, что ли, ну – лежу я очнувшись, шея тряпками обмотана, ослаб, двигаться не могу. Утро, около меня, вижу, сидит этот герой и ещё двое лежат, все ране-

² Конец союзу – *Ред.*

³ Да здравствует Франция, да здравствует Россия – *Ред.*

ны. Мёртвых довольно много насыпано и наших и тех. Швецов хозяйственно обряжает чью-то голую ногу японским материалом, лицо у него тоже испорчено, в крови всё, на голове что-то вроде колтуна⁴. Спрашиваю – куда ранен?

Отвечает охотно так:

– В обе ноги, в бок да голову, ваше благородие!

«Отделался, слава тебе господи!» – подумал я тогда о нём.

Слышу – хрипит он:

– Покричать надо японцам-то, шли бы скорей, забирали нас, а то его благородию вредно лежать тут, как бы не помер.

Я не могу сказать ни слова, даже кровь изо рта не в силах выплюнуть. Ну, он и начал кричать, так, знаете, просто, поновгородски, что ли:

– Эй, иди сюда! Эй!

И машет руками, точно приятелей зовет. Пришли приятели: эдакие аккуратненькие санитарики, один немного лопочет по-русски, Швецов ему объясняет: «Вот, говорит, офицер, подобрать его надо, перевязать...» Тот обошёл как-то вокруг Швецова и вежливенько говорит: «Позвольте, сначала вас надо перевязать!» – «Нет, говорит, сначала его благородие».

И сказано это было как-то так, что в словах этих не почувствовал я жалости человеческой ко мне и не возбудили они во мне, в душе моей, ни тени благодарности...

Перевязали меня, дали чего-то глотнуть, положили и по-

⁴ Плотный, слипшийся ком волос на голове – *Ред.*

несли. Легко раненные пошли со мной, а Швецов этот остался. Потом умер он в море, на транспорте, по дороге в плен.

Умирал деловито и спокойно, точно исполнял самое важнейшее своей жизни, а я наблюдал за ним, и – злила меня эта деловитость.

– Что, – спрашиваю, – не хочется умирать, Швецов?

– Дело не наше – божие...

...Я, кажется, не сумел обрисовать этого человека достаточно ясно... я не могу этого. Фактов – нет у меня... действий его я не знаю. Тут всё дело в спокойном взгляде эдаких бездонно голубых глаз... в одной их искре, которая порою вспыхивала где-то в самой глубине взгляда. Это – искра затаённого несогласия со мною, начальником, со всем, что я говорю, приказываю, в чём иногда пытался убеждать.

...Лежим, помню, в траншее, мороз, неистово садит ветер, где-то бухает артиллерия, и вся земля эта проклятая, напоённая нашей кровью, вздрагивает, гудит – у-у-у!

– Что, Швецов, холодно?

– Так точно, ваше благородие...

Спокойно говорит, спокойно, понимаете.

– Вот начнётся бой – теплее будет, а?

– Так точно. Перед смертью, конечно, ни жара, ни холод не страшны...

– Почему же перед смертью? Надо о победе думать, а не о смерти...

Молчит. И все, искоса поглядывая на меня, молчат. Со-

лидно так молчат, точно камни.

Чувствуешь себя среди этих существ дьявольски одиноким и обиженным... Что-то ребячье шевелится в душе... в голову лезут странные мысли... хочется закричать этим людям:

«Братцы! Я тоже – русский... я ведь человек вашей земли... родные мои люди! В чём дело? О чём вы молчите?»

Они ёжатся, покрываются от холода и – смотрят вперёд, в холодный, сизоватый эдакий туман, где притаился враг. Спокойно смотрят, да.

Делается страшно. Не боюсь сказать – страшно...

Его измученное лицо перекопилось нервной улыбкой, усталые глаза полузакрылись, и, шевеля пальцами правой руки, он тихонько, хрипло продолжал:

– Надо что-то делать, государь мой... как вы думаете? Надо что-то сказать им... такое, что сдвинуло бы нас с этими людьми... надо же понимать свой народ! И – чтобы он тоже понимал меня... А иначе нельзя жить... право же нельзя!..

...У меня был вестовой Чухнов, пьяница и вор, заражённый сифилисом. Украл однажды сапоги мои – я его простил. Он продал татарину погоню старые. Отодрал я его за ухо, как мальчишку, – простил. Хорошо-с.

– В то время я состоял... в романе с соседкой, женой одного чинуши. Сады смежные, и она, по ночам, приходила ко мне через отверстие в заборе, сделанное этим... мерзавцем. Доску, знаете, вынуть, и – готова узенькая дверца, мож-

но без труда пролезть. Однажды является она – вся испачкана какой-то гадостью, стыдно ей, испугана, едва не истерика... Оказывается – она полезла в этот тайник, а к забору была пристроена жестянка, налитая дёгтем, и когда Саша отнял доску – её облило с головы до ног. Что такое? Зову Чухнова и – как-то сразу, по воровским его глазам, вижу – это его дело! «Ты?» – говорю. Отнекивается. Потом – сознался. Я был убит... даже ударить его не мог. Потом, на другой день, говорю: «Слушай, – зачем? Я тебя дважды спас от суда, ведь ты знаешь, как строго судят вашего брата за кражу. Зачем? Что я сделал тебе худого?»

Молчит. Ну... прогнал я его в роту.

Другой вестовой – Миловидов, хороший слесарь, грамотен, газеты читает, а – к строю, к дисциплине совершенно, органически неспособен. Умён, сметлив, но – отчаянный задира и драчун. Всё ему нипочем, и жизнь – копейка, но вся эта удаля направлена как-то криво, в пустое место... Числился в разряде штрафованных, и грозили ему разные беды, мне жалко стало парня и выпросил его у ротного в вестовые себе. Сначала – ничего, жили дружно, служил он хорошо, но – однажды как-то бреюсь я и вижу в зеркале его рожу – оскорбительно косится на меня из угла комнаты эдакое лицо... врага, презирающего меня... Что за дьявол? Начинаю следить за ним и всё чаще ловлю эти возмущающие душу мою гримасы.

Наконец однажды, в хорошем расположении духа, ласко-

во так говорю ему:

– Слушай, Егорка, ты почему это рожи мне строишь за спиной моей, а?

Сконфузился сначала, виновато заморгал глазами, вытянулся, я ещё более мягко, с хорошим чувством к нему, с эдаким, знаете, искреннейшим желанием установить к человеку человеческое отношение, понять его – расспрашиваю, дружески, как могу...

И вдруг вижу – вырос Егорка, усмехнулся как-то всем телом, с головы до сапог, и – оскорбительно панибратски, с явным наслаждением говорит:

– Потому, что Александра Петровна с поручиком таким-то обманывает вас вот уже больше месяца, я сам видел, как он в саду, за беседкой... – и так далее, всё такими, знаете, грубейшими мужицкими словами...

Было в этом, говорю вам, раздавившее меня наслаждение моим стыдом, мою унижительную ролью. Выгнал я его...

После спрашиваю:

– Почему ты, Миловидов, сразу, когда узнал, не сказал мне об этом?

– Не могу знать...

Врёт! Он прекрасно знал – почему: ему нравилось видеть меня дураком, смешным болваном... ах, конечно, так! Нравилось, и он наслаждался...

Это, государь мой, народ, среди которого живём мы, интеллигенция... мы в нём – как этот остров среди тёмных

волн. Вот они извечно толкуются вокруг него, гложут, гложут и – тихонько, незаметно, медленно уничтожают...

Это – камни, а мы – живые люди, и нас – отчаяние мало, поймите! Нас – до ужаса мало... Кажется, только наш брат, офицер, ясно видит – как ничтожно тонка корочка людей, желающих добра миру, над этой массой непримиримо враждебных существ... которые живут своим, недоступным нам, углублённым разумом и... и, может быть, бессознательно ждут какого-то момента, когда они встанут все, везде, по всей земле и – уничтожат нас... Надо бороться с ними... надо победить это!..

– Фантазия? Разве есть фантазии без опоры в действительности, без корней в жизни?..

...Я не верю в социализм: его выдумали евреи, это просто попытка рассеянного в мире народа к объединению. Социализм, сионизм – это, вероятно, одно и то же для них. Я не знаю, но я так думаю.

– Русский не может быть социалистом – ему чего-то не хватает для этого. Я, батенька, видел социалистов русских и беседовал с ними и даже иногда увлекался перспективами будущего... но потом быстро трезвел... Социалисты, которые терпеть не могут друг друга, не уважают личности, товарища, который, скажем, картавит, произнося имя Марксово... ну какой там социализм! Это у нас – на день, на праздник... Сегодня – социалист, завтра – чёрт знает кто... этого вы не отбросите, это наше! Вспомните провокаторов... ну,

хорошо, они надоели... Но – вот что: кто виноват в эпидемии самоубийств? Это те, которые вчера учили молодёжь – вперёд! а сегодня – командуют ей: стой! шаг на месте! Да, да, это... в массе случаев они виновники самоистребления... Учили, убеждали, настроили юные души на идеалистический лад и – проиграв партию, спокойно отошли в сторону, а те – остались одни и разбиваются насмерть... насмерть! Я знаю смысл слов: «надоело жить», о, батенька, я это знаю! За этими словами – разочарование, значит – люди были очарованы; где же те, которые очаровали людей и – обманули их?

– Конечно, они тоже – русские, и это, может быть, оправдывает их слабость, их измену. Нельзя только найти оправдание тому, что, будучи нигилистами, они так долго обманывали юношество, играя роль верующих и даже фанатиков.

– Вера требует дисциплины; если я верю: так надо! – я подчиняюсь, сознательно и свободно ввожу мою волю в общий поток воли, одинаково направленных, имеющих одну со мною цель. Этого мы не умеем делать... недавние рабы и холопы, мы все сегодня хотим быть владыками и – командовать...

– Не ошибались древние, говоря про нас, славян: «Ни в чём они между собою не согласны, все питают друг ко другу вражду, и ни один не хочет повиноваться другому»... Да, да, я понимаю, но я говорю о необходимости повиновения идее... о скреплении своей личной воли с волею всей нации, это нам незнакомо...

– Я кое-что читал, знаю немецкий язык, видел немцев – у них есть дисциплина, они – активны и – знают, чего хотят. Я не знаю, как там... социалисты ли они в глубоком, еврейском смысле... то есть – насквозь, до костей... с этим дьявольски развитым чувством общности, с умением помочь друг другу... но у немцев есть дисциплина, вот это я знаю! Дисциплина – не за страх, поймите, а за совесть! Общая работа – общая сознательная ответственность...

– А мы, мы потому и некультурны, что органически не способны к дисциплине. Мы – подчиняемся, пряча свою волю в уголок куда-то, в тёмный, глубокий уголок души. Кто-то командует: «Равнение налево, м-арш!» Идём налево. «Равнение направо!» Равняемся. Но всегда есть что-то подневольное в этом... шумное, крикливое и – неискреннее, лишённое веры, пафоса... Наша личная воля спрятана в уголок, легко подчиняется всем движениям тела и – не согласна ни с одним... В народной песне поётся: «Мы не сами-то идём – нас нужда ведёт...»

– Это очень национально! Уверяю вас... Мы, я сказал бы, прирождённые анархисты... все! Но – пассивные анархисты...

Он устал, побледнел, закрыл глаза, как бы вспоминая нечто мучительное, и тихо, хрипящим голосом сказал:

– Страшный народ... несчастный и страшный, знаете...

И качнул головою так, точно его мстительно ударила тяжёлая невидимая рука.

II

Лицо у него – сухое и хитрое, маленькие глазки цепко обнимают всё, на что падает их острый, осторожный взгляд. Говорит – бойко, с этой чисто русской, веками воспитанной добродушной откровенностью, в которой однако бесполезно искать искренности. Каждое неосторожное словечко вызывает паузу, живые серые глазки, остановясь, как бы соображают:

«Так ли сказал-то? Надо ли было это слово говорить?»

И гибкий язык тотчас хоронит неосторожное словцо, быстро насыпая над ним целый холм чего-то ненужного.

– Как живём, спрашиваете? – говорит он, а по морщинам его серого лица бегут рябью мелкие, короткие улыбочки.

– По-русски живём, конечно, как господь на душу положит, без заранее обдуманного намерения. Ухабисто и тряско, то направо кинет, то влево мотнёт. Раскачались все внутренние пружины, так что механизм души работает неправильно, шум и судороги – есть, а дела – не видно...

Его маленькие ручки с тёмными и очень тонкими пальцами кажутся особенно ловко приспоровленными для ловли мелкой серебряной монеты. Он запустил их в седенькую бородку, поправил, расчесал её и шевелит ими, ощупывая воздух, чашку чая, ложку, своё колено, скатерть, раскидывая глаза во все стороны. И говорит, согласно кивая небольшой

суздальской головкой:

– Со-овершенно так! Черносотельник нам, людям образа жизни мирного, весьма вреден. Левый революционер, он – побывал, набросал разных намёков и ушёл, куда ему занадобилось; он ушёл, а правый с нами остался и продолжает шум в очень неприятном смысле, даже весьма мешая делу. Теперь, скажем, еврей – сейчас: почему еврей? Измена! А измены, конечно, никакой, просто человек из Гамбурга за дубовой клёпкой для винных бочек прибыл, и как ему не разрешено ездить свободно, то он несколько скрывается. Тоже немец: почему немец? Нехорошо-с...

Помолчал, соображая, не выговорил ли чего излишне, и успокоенно продолжает:

– Конечно, черносотельник, как русский человек, привыкши к жизни тихой, очень напуган происшествиями, оттого и шумит. У меня сват председателем нашего дрёмовского «Союза русских людей» состоит, всё как надо, знак на груди носит, а в сердце – страх. В шестом году это с ним случилось, когда пошли эспроприации, а по-нашему – грабежи; надулся он тогда шаром, побагровел, выкатил безумно глаза и так с той самой поры и – орёт! Один на один, в тихую минуту спросишь его:

– Кричишь?

– Кричу, сват!

– А чего кричишь?

– Боюсь!

Даже плачет иногда, поверьте.

– Конец, говорит, России пришёл, крышка! Одолеют нас!..

Для нас, промышленных людей, опасность, действительно верно, – есть! Народ – неприготовленный, вдруг всё это сразу пришло, ну и... замялись! Для промышленного народа впереди всего дело: у свата – кожевенное, у меня – дубовая клёпка, для кума Василья Кириллыча – кудель. Раньше очень просто было: приедет весёлый жидочек из Гамбургу, и кум спокоен, а ко мне являлся марсельской фирмы агент Осип Моисеевич Шехтель, жулик чище нас, грешных, то есть не жулик, а эдакий ловкий и удобный человек. Он очень честный в деле, это я так, ласково, жуликом его. Приедет и всё возьмёт, увезёт всю клёпочку, оставит деньги, и всё это так налажено было, а теперь вот, изволите видеть, сам я из Дрёмова в Геную попал и... Вообще, знаете, кум, например, такое мнение имеет, что торговое дело – всеобщее и превыше всякой политики, так что начальство в торговле – ни при чём! В ней – рубль начальство...

– Язык? Мне племянник языком служит, он очень даже ловок в этом. Пошёл музеи глядеть, а меня вот здесь пришил, один-то я опасаюсь гулять. Хотя – здесь сторона простая, и ежели бы по-русски разумели, так совсем хорошо – приятнейший народ! Вон как половой улыбается – мы с ним приятели даже. Бабам нашим такого жука показать – бо-ольшое волнение чувств может быть от эдакого архангела. Простая сторона, ничего... И, побочно со своим, завёл я тут дельце

с иконами, – иконы здесь греческой по старым лавкам, это я вам скажу – удивительно сколько и – нипочём! Намедни зашёл я с племяшом в подвальчик, гляжу – на стенке Николай Святитель, Мир Ликийских, отменнейшего письма! Кванта коста? Трента⁵. У меня даже коленки дрогнули. Чинква?! За десять серебряных монет приобрёл, а у нас цена этой вещи будет не менее, думаю, трёх сотен целковых. Посеял я на это дельце лиров – тыщи с полторы и так полагаю, что лира мне перевернётся на круг рубля в два. Вывозить есть затруднение, ну, мы способ знаем. На низ, к югу думаю спуститься, там, племяш говорит, грека больше было и, стало быть, иконы тоже больше. Простота!

Помолчал, внутренне взвешивая сказанное, потом, вздохнув, продолжал с некоторым умилением:

– Много здесь приятного русской душе: иду в Марселе мимо огромного магазина колониальных товаров, глядь – чай лежит Поповский и Боткиных, а здесь муку видел русского помола, высоких клейм. Это, знаете, очень трогает за сердце! Сват?

Смеётся дробным смешком, покачиваясь сухопарым тельцем, напоминающим неуклюжий изогнутый гвоздь.

– Как – чего испугался? Все испугались, и причины для того были, когда окрест города мужичок, знаете, нахмурился и попёр, без разумения, на все законные преграды – давай

⁵ Сколько стоит? Тридцать – *Ред.*

⁶ Пять – *Ред.*

ему земли! Сам говорит – земля ничья, божья земля, и сам же её у бога отнять хочет, а? У бога! Да-а... очень грозное столботворение было, и наш брат, промышленник, человек тонкого дела, от этих грубостей больше всех пострадал, конечно...

– Почему? Потому, что – как это теперь всякому понятно – самое чувствительное место в государственном, так скажем, теле – карман-с, а они, пролетары эти, всего усерднее по карману норовили ударить. Им бы тише, им бы сначала спросить сведущих людей, какими способами проще получить облегчение прав и начальственной тяготы? А никто их этому не научил, и вместо умаления начальства вышло совсем обратное – разродилась его сила ещё обильнее, и вот пошло вмешательство во все стороны, и община тут затрещала, и попов разогрели, и... да что уж говорить!

Он задумался – точно серенькую маску надел на острое своё лицо, глаза остановились, углубясь в какое-то воспоминание, потом вздохнул и завертелся на стуле, чем-то уколотый.

– Спросимте ещё уну бутылю? Камергерэ, анкора уна бутылья бьянка... и язык какой простецкий, глядите! Н-да, умных бы людей на эту их простоту...

Оглянулся вокруг и, наклонясь вперёд, таинственно понизил голос, торопливо говоря:

– Сын мой Николаша, подобно дятлу, всё в одно место стучит носом – рано, дескать, мы, старики, направо сверну-

ли! Очень он этими словами свата удручает и жену тоже, так что она плачет даже и просит: «Коля, не серди ты тятеньку Христа ради, с им удар будет!» А Николай упрям, строг, и всё твердит: поторопились! Сват, действительно, сердится, ну а сам как будто понимает, что, пожалуй, Николай-от не зря говорит. Как-то раз, будучи очень им расстроен и раздражён, заплакал сват, сморкается и жалобно таково просит: «Оставь меня, не говори про всё это! Погоди – умрём, останетесь вы, щенки, хозяевами...» А Николай – дерзок он у меня – не дослушав речи, и бухнул:

– Али, говорит, я для того родился, чтобы ваши ошибки править? Это какая жизнь? Одни – путают, другие – распутывай, и все на одном месте толкутся, а между тем соседи не ждут – глядите, вон как иностранный капитал прёт на нас...

И начал, знаете, доказывать. Политика иностранная для меня не вполне понятна, однако – забавно видеть, как собственное твоё чадо двадцати шести годов всей жизни первого умника в городе обставляет, доводя его даже до лишения языка... А кроме того – тяжело...

Он замолчал, посасывая золотое вино и чмокая тонкими губами, снова спрятал глаза куда-то под череп и слепо уставился узкими щёлками в стену, пустую и холодную.

– Дума? Что ж Дума? Она ведь нашими делами не занимается, и толка от неё не заметно пока... – неохотно проговорил он и, вдруг завертевшись на стуле, молвил, сердито улыбаясь:

– Мечтательность распространяет Дума эта и смущает многих... вдруг, к примеру, какой-нибудь бродячий столяр говорит о государстве, России и прочее. Откуда? Вот именно от Думы этой. В ней говорят, а в газетах всё сказанное пишется, ну и проходит в средину населения, но – как проходит? Конечно, в испорченном виде всё. Разве когда в Думе говорилось, что от несоответствия возрастов дети неудачны бывают? Видите! А в народ, между прочим, проникло такое...

– Да уж поверьте! Этому я сам свидетель и могу рассказать...

Бойко, со странным соединением тяжёлой пошлости и тонкого ума, он рассказал:

– Поехал я с работником летом, около успеньева дня, в город по делам некоторым, и вдруг схватывает работника холера. Я, конечно, испугавшись, – домой, а дорогой лошадь у меня расковалась, пришлось остановиться в деревеньке, и так запоздал я значительно – дай бог у себя к полуночи быть... Тороплюсь, лошадка молодая, горячая, вдруг вижу – приступает на левую заднюю, заковал её мерзавец кузнечиска. Жалко животное, придерживаю, еду потихоньку, а уж темнеет, душно, пыльно и жутковато. Времена, как знаете, беспокойные, озорника расплодилось множество, а иной, конечное дело, и с голодухи, в отчаяние впавши, ценит человека дешевле козла. Народ у нас характера слабого и скупающий народ, многие, как это бессомненно известно, со ску-

ки и озорничают, заслуживая даже тюрьму и Сибирь. Так и еду просёлочком мягким...

– Вдруг, знаете, в ракитнике невысоком что-то зашевелилось, закачалось – бог знает что там, – испугался я, да и зыкни на лошадь, а она сама тоже, видно, испугалась и – понеси! Да так понесла, что вёрст с пяток – как пуля она летела, а у меня уже и руки затекают, не могу держать... Тарантасик мой прыгает мячом, едва сижу – беда, разобьёт! И вот вдруг на дороге, словно чёрный прыщ вскочил, явился человек у самой у морды лошадиной, вижу – подпрыгнул как-то, вцепился и волочитя по дороге, а я совсем ошалел: пистолет достать нельзя – боюсь вожжи выпустить, сижу и кричу что есть мочи. Однако слышу заботливый и вежливый эдакий голос хрипотцой: дескать, не беспокойтесь, и вообще – ничего, слава те господи, не худой, видно, человек... это ведь сразу, по воздуху передаётся...

– Присмотрелся я к нему, пока лошадь он охаживал: сухой такой человечек, голодного вида, лицо длинное, клином, и бородка эдакая ненужная. В руке тонкая палочка, на спине котомка лёгонькая... а первое всего – голос располагающий: спокойный, тихий и уважительный. В одном слове сказать – пригласил я его – садись, мол, подвезу, потому оказалось, что он идёт в моё село... Так-то... Едем. Жмётся он, как бы стараясь не стеснить, не касаться меня, а мне эта его великатность нравится. Слово за слово – узнал я, что столяр он и резчик, а теперь – без работы, шагает к нам, услышав, что

у нас ремонт иконостаса предполагается. Верно, предполагали...

Спрашиваю его:

– Что ж так запоздал?

– Да всё, – говорит, – народ интересный встречался, с тем слово, с этим два, а время идёт, а душа цветёт.

Фигурно говорит и ласково.

– Какой же, мол, интересный народ?

– Да – мужики...

– Это верно, – говорю, – весьма они интересны!

Я пошутил, а он – не понял.

– Человек, – говорит, – самое интересное всегда.

– Сколько тебе годов?

– Двадцать семь.

Едем да говорим, и вижу я – парень не пустой и хоть молод, а разумен, мысли у него смирные и располагающие к беседе. На грех мне в ту пору столяр нужен был по разной починке домашней, есть у нас свой – пьяница, вор, да и мастер не искусный. И предложи я этому, что вот, пока он там насчёт иконостаса толкует, поработал бы у меня, я ему полтинку в день положу, а то, коли хочет, сдельно. Ничего, согласился. Приехали, я его прямо к себе ночевать чтобы... нда, удивительно это! Разное в руку берёшь, а чем палец занозишь – неведомо! Осторожный я человек будто бы, а тут расположился, неизвестно почему. Пачпорт его оказался в порядке, и значилось в нём, что парень мещанин из Починок

– всё как надо. Имя его забыл я... Ефим, кажись, а то – Ефрем... Ну, всё едино...

Его личико сконфуженно сморщилось, пальцы побежали по столу, выбивая дробь, маленькая головка виновато опустилась над столом, стало видно, как жидки и тонки серые волосы на жёлтой коже черепа. Под этой кожей что-то шевелилось, бегало суетливо и беспокойно, заставляя вздрагивать сухие, острые уши.

– Просто даже удивительно, до чего несуразен этот русский народ, даже непостижимо уму... всё какие-то мимо идущие люди, идут мимо всего, а куда, к чему – неизвестно! Отношения нету никакого – одно любопытство, словно бы вчера они поселились на земле и ещё не решено у них – тут будут жить али в другом месте где? Беда! То есть положительно – беда! Так всё ненадёжно, и так все требуют... укрощения... не кулаком, конечно, это не по времени и цели не служит, как видим... нет, тут внутреннее укрощение нужно, чтобы внутри себя человек успокоился и встал на свой пункт. Забить человека до дурака – это очень просто, так ведь жизнь не дураками строится и держится – верно-с? Ты мне найди способ, как внутренне укротить, ума – не тронь! Ум, он – деньги выдумал, а деньги – вот, я держу в руке маленькую цветную бумажку, и в ней – всё! Тут и скот, и дом, и раб, и жена, и всякие удовольствия, и непререкаемая надо всем власть, вот как-с! А ведь просто – бумажка или золотой кружочек с каким-нибудь изображением...

Он вспотел от волнения, охватившего его, вскинул голову и, отдуваясь, вытер лицо большим, смятым в комок платком. Затем, вздохнув, оглянулся, подвинулся к столу, спрятав руки, продолжал жалобно, в тон скучному вою сирены, разрывавшей дымный воздух порта:

– Работал этот Ефим достойно звания, умеючи, но однако так, как будто не это его главное дело и не столяр он, а просто любопытствующий человек; чистит шкаф, а глаза у него преспокойно, не спеша гуляют по всем предметам и направлениям... Меня в работе не обманешь, я вижу с первой минуты, каков есть работник! Иной – как музыкант в своём деле – вопьётся в него, прилипнет к своему инструменту и уж ничего не понимает, ни о чём, кроме дела, думать не может, – редки такие! А этот – он и споро работает, однако видно, что мысли у него не в деле, а где-то около...

Подкатился к нему сынишка мой – он у меня в крестце ездит по случаю слабых ножек, – Ефим ласково поговорил с ним... н-да, а тут супруга моя подошла... я, видите, на второй женат, шестой год живём. Сейчас этот воззрился на неё, оцупал глазами – а глаза у него эдакие пристальные, хотя и кроткого взгляда...

– Супруга ваша? – спрашивает.

– Именно, мол.

– Молоденька для вас.

– Молодая-то лучше, сам знаешь.

– Это для кого же, – спрашивает, – лучше?

– А для меня...

– Так. А вот, говорит, для сынка – лучше?

Что такое? Заинтриговался я этими его словами, расспрашиваю, а он мне безо всякого сомнения и доложил, что хотя молодая женщина и приятна, но сын мой лишён ног по причине несоответствия моего возраста жениному. Несоответствие, действительно верно, есть: мне, видите, пятьдесят четыре, а ей двадцать два, и взял я её шестнадцати. Но – разве это редкость? И кому до этого дело, кроме меня да её? Поразил он меня однако этими словами, и хоть виду я не показываю, но рассердился, а жена, по глупому любопытству, вытаращилась на него. Я, конечно, посмеиваюсь, а он, стоя на коленках, трясёт своей бородёнкой, на куриий хвост схожей, и всё гвоздит: «Вот, говорит, вы, хозяйева, живёте в своё удовольствие, достигая для себя всего, чего вам хочется, а про государство, про Россию кто из вас думает?»

– Подожди, как же это ты до государства махнул?

– А очень просто! – говорит. – Вы где живёте – в России? От кого всем пользуетесь? От России! А что ей даёте? Вот – даже и ребёночек у вас уродец, по жадности вашей... А коли и здоровый он родится – воспитать, добру научить не умеете!

Тут я, знаете, вспылел.

– Ты, – говорю, – кто?

А он – ничего, спокойно так, учительно и досадно всё своё толкует:

– Ежели-де я вижу что вредное али нечестное – должен на

это указать...

– Да кто тебя слушать согласен?

– Сто человек не услышат – сто первому скажу...

И лицо у него упрямое эдакое, как топор, примерно.

Старик торопливо выпил вино, закашлялся, закрыл рот платком и, встряхивая головою, замычал, как от боли. Мутные слёзы потекли из его глаз, покрасневших от натуги.

– Так, знаете, с утра да вплоть до полудён мы с ним и беседовали, и наговорил он мне такого, что даже не знаю, как и назвать! Жену я, конечное дело, отстранил, но чувствую, что она из другой комнаты слушает споры наши. Женщина тихая, была из бедности взята... н-да... Конечно, понимаю я, что за пичужка прилетела, нет их хуже, этих смирных бунтарей, я вам скажу! Иной, настоящий революционер, накричит, наговорит, и – ничего, а эти, вот эдакие кроткие, это – зараза прилипчивая, ой-ой как! Они, видите ли, по наружности кротки, а внутри у него – кремни насыпаны... В полдень я ему говорю: «Вот что, возьми-ка ты с меня четвертачок за работишку твою и – ступай с богом! Ты, брат, видно, сектант какой, что ли, а может, и хуже кто, так уйди-ка лучше!»

– Ушёл он тихо и смирно, а я за делами успокоился да и забыл про него. Только, замечаю, жена чего-то не в себе будто, я к ней со всем вниманием по супружескому делу, а она – отказывает: нездорова, дескать. Раз нездорова – ничего, два – допустимо, а в третий уж и на мысли наводит – что такое? Женщина молодая. К тому же заметил, что куда-то ухо-

дит она поспешно и возвращается сумрачная. И спрашивает несуразное и непривычно по характеру своему о разных разностях... Притих я, слежу, выжидаю ясности... Прошло эдак недельки с две время – слышу, объявился у нас проповедник. Кто? Столяр, который иконостас чинит. Так! Где проповедует? В церковной сторожке. Потянуло меня, дай, думаю, пойду, ещё послушаю этих речей...

Он выпрямился, положил руки на край стола, точно на клавиши пианино, и, перебирая пальцами, чётко и строго продолжал рассказ, прихмутив седенькие брови.

– Выбрал вечером свободный час, иду... Церковь у нас б то время вся в лесах стояла, щикатурку подновляли, около сторожки груда всякой всячины навалена, и сторожка хорошо укрыта. Подошёл я из-за уголка и слышу встречу мне Матрёшин, Климова мясника дочери, голос, сочный такой:

– Как же надо жить? – спрашивает.

«Что такое? – думаю. – При чём тут Матрёша?» Заглянул в дверь-то, а там, в уголку, и супруга моя изволит сидеть, и ещё две дамы наши, да парней человека четыре, да старик Зверков, тоже полоумный. Ошибло меня. А столяр этот вежливо так приглашает:

– Пожалуйста, входите! – как в свой дом всё равно. Вскипел я несколько, но сдержался, вхожу. Спасибо, мол, но я бы и без приглашения твоего взошёл... да... Супружница, вижу, сомлела от испуга, прячет голову в платок. Сел я рядом с нею и шепнул: «Выздоровела, сукина дочь, а?» А этот ко-

зёл разливаает-блеет то и сё и не знаю что! Уж я, конечно, не мог слушать, помню только одни слова его: дескать наступило время, когда мы все должны подумать друг о друге и каждый о себе, и прочее. Всё ясно и без слов, разумеется. Гляжу на него, глазёнки играют, бородёнка трясётся – пророк, за шиворот да за порог!

– Должна, – говорит, – Русь наша, если она жива душой... Все в горячительном роде и с примесью евангелия даже... Взорвало меня:

– Ты, – говорю, – как хочешь, милый, думай про себя, а людей смущать не дозволено! И я тебе это докажу...

Взял жену за руку и – домой, а по дороге – к свату, да и говорю ему:

– Что сидишь, друг? Чего ждёшь?

Испугал. Ну, он сейчас стражников, и всё своим порядком пошло – расспросили парня этого, как и что, свели в кутузку, а потом – в город, с парой провожатых...

Старик устало и тихонько засмеялся, но ни довольства собою, ни веселья, ни злости в смехе его не прозвучало, смех этот, ненужный и скучный, оборвался, точно гнилая бечёвка, и снова быстро посыпались маленькие, суетливые слова.

– Случай, конечно, маловажный, и кабы один он – забыть его да и конец! Кабы один... Что значит один человек? Ничего не значит. Тут, сударь мой, дело именно в том, что не один – эдаких-то вот, мимоидущих да всезадевающих людишек довольно развелось... весьма даже довольно! То там мельк-

нёт да какое-то смутьянское слово уронит, то здесь прошёл и кого-то по дороге задел, обидел – много их! И у каждого будто бы своё – один насчёт бога, другой там про Россию, третий, слышишь, про общину мужикам разъясняет, а все они, как сообразить, – в одну дуду дудят! Я, собственно, не виню людей огулом – ты думай, ничего, валяй, но – про себя! А додумаешься до конца – можно и вслух сказать: вот, мол, добрые люди, так и так! А уж мы разберём, куда тебя за твою выдумку определить – в каземат или на вид поставим, это наше дело! Ты додумай до конца, а не намеками действуй, не полусловами, ты себя сразу выясни и овцою кроткой не притворяйся... А тут, понимаете, ходят какие-то бредовые люди, словно сон им приснился однажды, и вот они, сон этот сами плохо помня, как бы у других выспрашивают – что во сне видели? Этот столяр – он, конечно, не более как болван и не иначе что за бабами охотится, есть эдакие, немало. Но вообще взять – очень беспокойно в народе стало. Мечтатель народ и путаник, всегда таким был, а уж ныне – не дай бог! Раньше, до пятого года, поглядишь на человека – насквозь виден, а теперь – нет! Теперь он глаза прячет, и понять его трудненько...

– В чём перемена? Как это сказать? Вообще, чутьём слышно – не те люди, с которыми привык жить, не те! Злее стали? И это есть, а суть будто не в этом. Умнее бы? Тоже не скажешь. Раньше как-то покойнее были все, не то, чтобы озорства разного меньше было, нет – что озорство? А внут-

ри себя каждый имел что-то... свой пункт. И было ясно – вот Степан, а желает он лошадь купить, вот Никита – ему хочется в город уйти, Василий – всего хочет, да ничего не может. Ныне всё это осталось, все прежние хотения налицо, а главное-то словно бы не в них, а за ними... в глубь души опущено, спрятано и растёт... кто его знает, что оно! Говорю – вроде сна! Проходят люди мимо дела, а куда – нельзя догадаться. Были вот урожаи, приподнялось крестьянство, привстала торговлишка, – радоваться бы – а радости настоящей нет. И песни играют, и частушки кричат, а что-то легонько поскрипывает и – невесело скрипит...

– Ненадёжный народ, ежели правду сказать, ожидающий какой-то стал он, очень это неприятно в нём и опасливо. Главное же, вот эти мелькающие, проходящие мимо, вроде столяра...

Он зачем-то приподнял руку и, растопырив пальцы перед лицом своим, задумчиво оглядел их маленькими, отуманенными печалью глазками.

– Трудная сторона Россия наша, – сказал он тихонько, – трудно в ней жить под старость лет... меняется всё, а самому примениться – поздненько. Поздненько, сударь мой, да...

В стакан его попала муха, он окунул в янтарь вина тёмный, тонкий и кривой мизинец, ловко поддел утопшую, стряхнул её на пол и аккуратно раздавил ногой, говоря как бы себе самому:

– Когда отец мой умирал – мне тридцать два года было,

призвал он меня ко смертному своему одру и говорит: «Василий, как думаешь жить?» Я, стоя на коленках, отвечаю: «Как вы, тятенька, жили, ни в чём не отступая!» – «То-то, – говорит. – А иначе я б тебе и благословенья не дал...» Вот как бывало! А ныне мой сын мне преспокойно внушает: все мои дела и приёмы – неверны, все мои мысли – негодны. Теперь, говорит, другое время, другой народ и – всё другое. Слушаю я, смотрю – верно! Всё покачнулось... Другой народ...

– Был у меня приятель, мельник, хороший человек, начитанный, достаток имел, уважением пользовался, вообще – не из дюжины стакан... И как-то вдруг – точно подменили ему душу...

– В шестом году, после того, как разорили у него мельницу, является он ко мне и – «не желаю, говорит, участвовать!» – «В чём?» – «Во всём! Ни в чём не желаю участвовать!» И так, с той поры, действительно верно, ничего не делает, ни о чём не заботится, семью бросил, пьёт и рассуждает. Бородища до пояса, сыну двадцать лет, дочь в Питере картины писать учится, а он – «всё это, говорит, не надо! Всё это – участие во грехе!» А сам – пьян дважды в сутки. И во все дела путается – после столяра этого пришёл нетрезвый и – изругал меня. Должен был я с ним разойтись и теперь к себе его не пускаю... он, к тому ещё, и жену мою смущать насыкался... н-да! Пошатнулся народ... Везде это заметно, в нашем крепком быту нельзя бы неожиданностям бывать,

а они – случаются, и всё чаще, сударь вы мой!.. По внешности – всё как будто исправно и идёт своей тропой, а внутри каждого, чувствуется, живёт чужое и неожиданное, и вдруг – хороший бы человек, издавна знакомый и доверия достойный, объявляет – не хочу! Что такое?

– В девятом году, на крестинах у сына моего – внука мне родил сын – наш бородулинский учитель, пожилой уже человек, тихий и большой, встаёт с рюмкой в руке и – просто убил нас! «Хорошо, говорит, почтенные, будет, когда вы все подохнете, и пью, говорит, за наступление скорейшее смертных часов ваших!» Это на крестинах-то! А после того – свалился на пол да – реветь, с час ревел, едва отходили... Конечно – выпито было, но – ведь и раньше пили, а эдаких поздравлений – не слышать было... нет!

– И в то время, как солидных лет люди ломаются в душе, молодёжь – смотрит на них чужими глазами и без жалости. Хоть в лес иди – землянку рой от их взглядов!..

Схватив стакан, он глотнул вина, поперхнулся и, изгибаясь в припадке кашля, затрясся – багровый, синий, нестерпимо жалкий.

А когда кашель отпустил его, отдышавшись, он сказал тихонько и безнадежно:

– Да, неясна стала жизнь человечья... и люди – непонятны...

III

– Вам странно слышать, что я говорю о судьбе, о роке?

Человек сконфуженно усмехнулся, глядя куда-то в сторону рассеянным взглядом беспокойно мигающих глаз. Глаза у него серые. Я помню – недавно они смотрели на мир с добрым чувством, с живым интересом, помню, как славно горели они радостью и гневом. Теперь же взгляд их холоден, сух, слишком часто вспыхивает обидой, бессильным раздражением, а угасая, покрывается тенью тоскливого недоумения.

На его лице, маленьком, костистом, тонкими чертами, но глубоко и неизгладимо написано нечто, говорящее о большой усталости, о неизбывной, злой боли в сердце. Худое тело угловато, движения нервны и неловки, как будто человек этот был изломан, а потом неудачно и небрежно склеен.

Похрустывая тонкими пальцами жёлтых рук, он говорит сипловатым голосом, глядя исподлобья, усмехаясь искусственной усмешкой:

– Это меня знакомый жандармский ротмистр научил. Комическая история. Если не скучно вам, я расскажу...

– Три года тому назад я жил в деревне – двадцать две версты от города по железной дороге – и почти каждый день ездил утром с дачным поездом. Тут я и встречался с этим ротмистром... Я его знал и раньше, «по делам службы», – был я членом общества грамотности – помните? После обыс-

ка у нас в народном доме меня арестовали, допрашивали и прочее, по порядку... На допросах этот человек очень удивлял меня своим механическим, безразличным отношением ко мне и другим; это отношение казалось мне тогда хуже злобы, в основе его была какая-то мёртвая безучастность, каменное убеждение в ненужности, бессмыслии всего, о чём он спрашивал, в чём старался обвинять. Старался – это неверно, нет, он не старался, а действовал именно как механизм, предназначенный высасывать из человека то, о чём человек не хочет говорить. После этого знакомства он, во время какого-то ночного обыска, сломал себе ногу. Мне было неприятно встречать на перроне нашей маленькой станции его длинную фигуру, видеть, как она покачивается, точно готовясь упасть на левый бок, и как по тёмному лицу бегают гримасы не то боли, не то брезгливости. Я, конечно, не раскланивался с ним, но однажды он, входя в вагон впереди меня, поскользнулся, охнул и – упал бы под колеса, но я вовремя поддержал его. Вот-с...

На площадке вагона он кивнул мне головой и молча оскалил белые мелкие зубы, а в вагоне сел против меня и как-то особенно, непередаваемо сказал:

– Благодарю вас!

Я приподнял шляпу.

А он, помолчав, снова неприятно оскалил зубы, спрашивая тем же странным и волнующим тоном:

– Не каетесь, что помогли жандарму?

Смутился я, что-то пробормотал, а сам вдруг почувствовал прилив отвращения к жизни, взрыв почти дикой, звериной злости на эти «условия», которые мучают, терзают людей и ставят их друг против друга непримиримыми врагами. Истерзанные, с разбитой, ноющей душой, эти люди разных мундиров тратят всю жизнь, все лучшие силы души, весь ум и знание на борьбу друг с другом, – необходимую, ах, я понимаю! Но разве она менее отвратительна, менее унижает нас оттого, что необходима?

Он вытер свой широкий лоб, исписанный мелкими морщинами, торопливо закурил папиросу и, глотая дым, продолжал:

– С той поры каждый раз, когда я видел эту падающую фигуру, я испытывал повторные толчки в сердце, новые приливы ненависти к чему-то бесформенному и злему, что губит, ломает, душит людей – меня, его, всех. И вас, конечно, хотя вы, я понимаю, не пожелаете сознаться в этом, но – убеждён! – и вас!

Тихонько, не без торжества, он засмеялся и впервые посмотрел прямо в глаза мне напряжённым, ищущим взглядом. Вздыхнул, оглянулся, подумал и, спрятав улыбку в усах, покручивая их, тише и спокойнее говорил:

– Ну, познакомился я с ним за время этих поездок в город. Сначала раскланивались, перекидываясь парюю любезных слов; меня это знакомство смущало, здороваясь с ним, я незаметно оглядывался по сторонам, – ведь мы все – тру-

сы, боимся выскочить из клеточки традиционного, ох, уж эта боязнь!

– А он – умник, и я вижу, что моё смущение понято им, смешит и задевает его. Он старался быть со мною преувеличенно вежливым и ещё издали, с демонстративной поспешностью, с подчёркнутым почтением, снимал передо мною фуражку, оскаливая несокрушимые зубы. И сел в один вагон со мною. Беседовали мы мало, больше о мелочах или об отдалённом, о внешней политике и так далее. Старались, конечно, избегать тем, которые неизбежно вызвали бы спор.

Он задумался, болезненно наморщив брови, почесал ногтем мизинца нос, вздохнул.

– Но однажды, в дождливый серый день, когда вся земля напоминает скользкую холодную жабу, этот человек, сидя против меня, наклонился, упираясь в свои круглые колена, и сказал приблизительно следующее:

– Ну, что же, господин Иванов, теперь, когда народ показал вам себя, – поняли вы, что мы знаем эту Россию и этот русский народ лучше, чем вы?

– То есть? – спросил я, помню, чего-то испугавшись.

– Вы меня понимаете, конечно! – молвил он, гримасничая и махнув рукою.

И тотчас после этих слов его охватил припадок тихого бешенства – он посинел от напряжения, налившись тёмной кровью, зашаркал подошвами по полу вагона и, махая руками, начал осыпать меня градом злых слов. Я не стану вос-

производить его речь, но суть такова: нет страны, в которой положение человека, желающего ей добра и счастья, было бы более трагично и смешно, чем у нас, в России. У нас нет нации, а есть аморфная, бесформенная масса людей, нет классов, а только группы, неподвижно, мёртвой хваткой вцепившиеся в свои интересы, слишком мелкие, узко понятые, и потому эти группы не только не способны к большой национальной работе, но даже не умеют активно защищать то, до чего они додумались. У нас нет людей, которые видели бы и понимали трагизм современного положения страны, окружённой извне врагами и совершенно не организованной, отравленной враждою внутри, – нелепой враждой всех со всеми, В этом хаосе неосознанных интересов, в этом вихре разнообразных, маленьких течений бьётся, как щепка разбитого корабля, интеллигент – единственное лицо, – сказал он, подчёркивая, – единственное лицо, которое могло бы работать с великою пользою для всех, если бы оно умело работать! Но русская интеллигенция неизлечимо больна устремлением в дали будущего, она не хочет знать настоящего, она ничем не связана с народом и не может связаться с ним, ибо русский народ – гнилая, изработанная материя.

– Всё это было бы скучно, если бы не страсть, с которою он говорил, – его озлобление интриговало и возбуждало меня.

– У нас есть только народ и его судьба! – шептал он, задыхаясь, – сердце у него, видимо, было больное. – Русский человек выработал себе, в процессе своей уродливой истории,

непоколебимое представление о некоторой, ничем неодолимой силе, она управляет всеми его намерениями и делами так, как ей нужно, а её намерения непонятны никому, ясно лишь одно – они не имеют в виду интересов людей. Судьба относится к людям жестоко, – но неуловимая, незримая, она непобедима, и бороться с нею бесполезно, дерзко, смешно.

– Вот против чего должны вы бороться! – внушал он мне. – Вот где ваш враг – он в душе народа! Правительство – это механизм, создаваемый нацией, согласно её потребностям, для ограждения её интересов. – И он сослался на правительства Запада, постепенно и непрерывно поддающиеся изменениям к лучшему.

– А у нас на Руси правительство – самостоятельный, живой организм! – крикнул он торжественно и угрожающе и стал доказывать, что пока народ верит в Судьбу – нет причин бороться против правительства, единственной культурной силы в стране, силы, которая имеет намерение приучить народ к самостоятельности, помогает ему кристаллизироваться в точные сословные формы.

– Да, да, я понимаю, что всё это не ново, скучно, избито! – воскликнул рассказчик, нервно подскочив на стуле, – но вот эти его слова о вере народа в непобедимую силу Судьбы, как источника всех наших бед, всех мук, – эти слова показались мне и новы и важны. Я их запомнил, приютил в сердце, они – так мне теперь кажется – делают для меня загадки русской жизни более ясными...

– Под этим углом зрения я посмотрел на нашу историю и свою личную жизнь, и, знаете, я убеждён – есть что-то, чего я не замечал ранее, что-то тёмное, тяжкое и всегда враждебное воле моей. Это нечто – и есть вера народа в бытие Судьбы, это создано русским народом, этим заражён и я... Иногда я, вы, вообще мы, интеллигенты, на время возбуждаем друг друга до того, что как бы излечиваемся от недуга, поразившего нашу волю, и в эти моменты перестаём видеть жизнь такую, какова она есть, наполняем воображаемую нами душу народа нашим содержанием и далеко, невидимо далеко, отходим от него! А он остается тем, что он есть, всегда тем же самым! Мы ему не нужны, он нас не знает...

– Да, конечно, это старые жалобы! Вы правы. Но ведь это перемежающаяся лихорадка – мы постоянно то ощущаем нашу рознь с народом – наше проклятое одиночество, – то снова скрываем всё это от себя за красивую ложью, выдуманную нами же. Старые жалобы, однако – они живы и, поверьте, им суждено ещё долго жить!

Он вскочил со стула, прошёлся по комнате, оглядываясь подозрительно и тревожно, потом, цепко схватив руками спинку стула и тихонько постукивая им о пол, продолжал более спокойно:

– Никогда в жизни не испытывал я такой холодной, унижающей усталости и никогда не чувствовал себя столь чужим самому себе. Напрягаю все силы, чтобы разжечь в душе угасающее внимание к людям, поднять упавший интерес к

жизни, и вижу, что живу по инерции, живу, опускаясь, как пуля на излёте, пуля, потерявшая цель. Вы заметили, что у нас в жизни постоянно повторяется одно необъяснимое для меня противоречие: момент наибольшей нужды в людях совпадает с увеличением количества лишних людей? И наши лишние люди создаются отнюдь не внешними давлениями, которые будто бы выкидывают их за борт жизни, – нет, это плохое объяснение! Они изнутри лишние, они такими рождаются – рождаются с отрицанием прошлого, с отвращением к настоящему и с устремлением в фантастические дали...

– Это мысль хромого жандарма? И жандарм может иметь хорошие мысли, почему же нет? Человек во всех мундирах одинаково жалок, бессилён и одинаково достоин внимания, ну, хоть как некоторый курьёз, что ли...

– Я вот хочу рассказать вам одну историю... вернее – роман. Герой – мой приятель, адвокат, а героиня – его горничная; как видите, роман демократический. Мой приятель – человек немного безвольный, как все мы, немножко мечтатель, а вообще – человек не хуже других. Конечно – Дон-Кихот; кстати – Дон-Кихоты встречаются на Руси не только среди культурных людей, у нас в народе, в массе, сколько угодно донкихотизма! Так вот, приятель мой. Он женат, жена – красива, неглупа, зарабатывает он тысяч десять в год, живёт – жил, надо сказать – недурно, интересно даже. По четвергам у него бывали журфиксы⁷ с разговорами о литературе, с

⁷ Приём гостей в определённый день недели – *Ред.*

музыкой и прочим.

Господин Иванов прищуренными глазами посмотрел в стену, вздохнул и ещё более понизил голос.

– Года два тому назад я заметил, что мой приятель скучает: стал слишком нервозен, много пьёт вина, а выпив, становится нарочито вульгарен, спорит некорректно, улыбается криво, саркастически, и всё это не идёт к его характеру и доброму круглому лицу.

– Что с тобой?

– Да так, ничего особенного...

Настаиваю – скажи!

– Видишь ли, – говорит, – у меня такое ощущение, как будто я попал в некоторый чуждый мне поток и куда-то уплываю от жизни или, вернее, кружусь в нём. На берегах, вдали от меня – и с каждым днём всё дальше, – хлопают выстрелы, падают люди с разбитыми черепами, стоны, крики, вопли и злые слова, рычат торжествующие свиньи, и кто-то огромный, непонятный, неумолчно, полумёртвым равнодушным голосом бубнит – бу-бу-бу, возлюби ближнего твоего, как самого себя, бу-бу-бу, не пожелай другому того, чего не желаешь себе, бу-бу-бу! Россия – несчастная страна – бу-бу-бу! Ищите и обрящете – бу-бу-бу! И порою всё это принимает тяжкий, почти осязаемый характер кошмара. Смотрю я на всё и вижу – жизнь, вообще, отчаянно спутана, нелепа, бестолкова, и самой смешной, бесполезнейшей, нелепейшей точкою в ней является моё личное бытие.

Задумался, улыбаясь тихой, невесёлой улыбкой, а потом продолжает:

– Однажды слышал я простые слова, утренние какие-то, заревые слова. Стоял человек у окна, смотрел в сад и говорил – задушевно, как люди могут говорить только в двадцать лет, – говорил приблизительно так: «Господи боже мой! Сколько на земле хороших мыслей, сколько их! И если подумать, что ведь каждая родилась в живом сердце человеческом, может, после мук великих, в тяжком горе или в радости светлой, от любви родилась, – как драгоценна жизнь наша, если подумать!»»

– Так как это говорила моя горничная Анюта, я внутренне усмехнулся её словам. Она мне всегда казалась наивной дурочкой. Сентиментальная такая она, курносая, пухлая, с выкатившимися, в некотором удивлении, голубоватыми глазёнками. Когда она говорила это, я как раз сидел в саду под окном, отдыхая с книжкой в руках после приёма, готовясь к вечернему собранию присных. Ну, и, конечно, позабыл сейчас же слова её. А вспомнил их долгое время спустя, в конце лета, на даче: собрались гости, было весело, забавно, интересно, и вдруг я чувствую, что устал! Устал ото всего, а главным образом от хороших, остроумных, благородных мыслей. Вижу я, как люди вокруг меня привычно ловко и беззаботно лихо перекидываются «хорошими» мыслями и словами, точно мячиками, и стало мне жалко и людей и мысли. Вдруг понял, что для всех это просто игрушки, – и чем но-

вее, тем забавнее, – и когда вспомнил молитвенную оценку Анюты, тут уже совсем плохо стало мне, и неожиданно для себя произнёс я какую-то сатирическую и разносную речь. Очевидно, что речь моя была и смешна и неуместна, – супруга моя, женщина, как ты знаешь, со вкусом и способная написать толстую книгу о корректности, сильно пробрала меня за эту выходку, бесцеремонно названную ею мальчишеской и недостойной солидного человека. «Ты говорил, как какой-нибудь социаль-демократ или анархист», – сказала она, между прочим. А я, слушая её, соображал – может быть, и в самом деле анархист я?

– С этого и началось. Вся моя жизнь стала представляться мне какой-то странной, как будто заказанной кем-то со стороны. Пришёл некто и приказал: «Ну-с, милостивый государь, вы, кончив университет по юридическому факультету, женитесь на красивой, умной девушке, через год у вас будет ребёнок, через три – другой. Вы будете делать то-то и то-то, всегда одно и то же». Чепуха, вообще! Почему-то я показался сам себе ветошником-портным, который всю жизнь перешивает старое, подбирая одноцветные лоскуточки, прилаживая там и тут заплатки на протёртые места. И особенно сильно протёртым, непоправимо изношенным местом была собственная моя душа, или как это назвать? Как называется в человеке то место, которое думает и чувствует наиболее честно и правдиво? Вот оно у меня незаметно изнашивалось...

Господин Иванов рассказывал о своем приятеле так живо,

страстно и с таким почти яростным сочувствием, что невольно внушал слушателю подозрение – да существует ли приятель-то? Не одно ли это лицо с рассказчиком? Господин Иванов говорил за совесть, даже вспотел и побурел весь, а глаза его остановились, обратясь взором куда-то внутрь себя. И маленькие руки, с неровными, изогнутыми пальцами, нервозно дрожали.

Вздрагивая и захлёбываясь словами, он продолжал:

– Шли дни, как пишут в романах, приходил день и кланялся: здравствуйте, я ещё хуже вчерашнего! Мне становилось всё скучнее, жене тоже... «Тебе надо лечиться, ты распускаешься!» – убеждала она меня. Пожалуйста! Гимнастика, обливания холодные, а тяжёлый ком скуки в груди растёт и давит сердце. И снова Аня: иду я однажды мимо её комнаты, дверь не притворена, и слышу радостно захлёбывающийся голос, кстати, шепелявый немножко:

Покуда на груди земной
Хотя с трудом дышать я буду,
Весь трепет жизни молодой
Мне будет внятн отовсюду...

И восклицание:

– О, господи! Как задушевно, как хорошо!

– Фет и – горничная! Неожиданно, смешно и, знаете ли, тревожно как-то! Почему тревожно? Не знаю, но – тревожно! Как будто вечером вошёл в свою любимую комнату, а там

сидит кто-то неизвестный, чужой, и оглядывается, оценивая любимые твои вещи своею, какой-то новою оценкою. В этом роде что-то. Но интересно, не правда ли? С одной стороны люди, которым и сладостный Фет приелся, с другой – люди, начинающие вкушать сладость поэзии с аппетитом детей, пожирающих леденцы. Я очень заинтересовался, и меня потянуло в эту комнатку, где начинают жить.

– И случилось так, что однажды вечером, когда дома никого не было, а в комнатке Анюты звучали чьи-то весёлые голоса, я очутился в гостях у своей горничной. Не сразу, конечно, я вошёл к ней, а сначала подумал о том, как бы не смутить этих людей, не показаться бы смешным, навязчивым и всё прочее, как следует. Затем, воспользовавшись моим правом хозяина, вызвал её звонком и кабинет к себе, о чём-то спрашивал и наконец попросил: «А можно мне, Анюта, посидеть у вас, с вашими гостями? Скучно очень, а идти куда не хочется!» «А, пожалуйста! – воскликнула она и повторила: – Пожалуйста, идёмте!»

– Так это просто и славно вышло у неё, что я развеселился, и рефлексия моя исчезла как будто. И тогда же и заметил, что у Анюты вовсе не курносая мордочка, а просто хорошее, человечесьё лицо, с наивными глазами.

Господин Иванов на минуту остановился, не торопясь закурил папиросу и, глубоко проглатывая дым, продолжал, причем изо рта его исходили вместе со словами синие струи, отчего и слова казались синими, точно озябли:

– У меня есть знакомый молодой философ, – знаете, теперь многие из молодёжи от нечего делать философствуют. Так вот, он однажды сказал неглупую вещь – я не знаю, украл он это или сам выдумал? «Все, говорит, люди наивны – и добрые и злые, и правдивые и лгуны. Все наивны, ибо всё скоропреходяще: нет вечного зла, нет бессмертного добра, и нельзя солгать так, чтобы тебя не разоблачили. Самое приятное, ласковое и выгодное для нас – ложь, но мы так наивны, что всегда разоблачаем её в поисках какой-то правды, которая никому не нужна, вредна всем и неизменно мучительна. В сущности, всё человечество наивно, это его и спасает от поголовного вымирания в тоске, от безумия общего и прочих бед...» Вот... Ну – это в сторону!

– В гостях у Анюты сидела курсистка Мозырь, брюнетка, с глазами без белков, и господин Александров, смуглый парень, весёлый, вежливый и внимательный какой-то. Этакий чужой и непрерывно изучающий. Конечно, социаль-демократ. Встретили они меня как равного, показалось мне. Это меня сразу же превосходно настроило, и распустил я своё адвокатское красноречие, осыпая им все знакомые и незнакомые мне вопросы. Говорю, а они слушают. Лица серьёзные, и скуки не заметно, – скуку они славно скрыли из сострадания ко мне, что ли, а может, из простой человеческой деликатности. Иногда и люди бывают деликатны, хотя лучше всех животных в этом отношении собаки. Так мы, или, вернее, я, – так я и беседовал часа два-три, а потом – звонок,

жена приехала! Мне показалось, что при жене неловко сидеть в гостях у горничной, и я ушёл, кажется, более поспешно, чем следовало бы.

– Ушёл я с некоторыми приятными мыслями, в повышенном настроении. Помню, думалось: «Вот оно, непобедимое влияние культуры! Можно ли было вообразить, чтобы десять лет тому назад горничная, фельдшерица и рабочий скептически относились к Писареву? Вот они, те, которые и так далее. Одним словом, передумал, вероятно, всё, что можно было и следовало передумать по этому поводу. Жене почему-то не сказал об этом, может быть, потому только, что она приехала усталая и тотчас легла спать. А я в давно не испытанном волнении чувств, очень смешном, признаю, вышел в сад и гуляю.

– Гуляю и слышу: из окна Анютиной комнаты падают в сад тихие слова, порою свет в окне закрывается тенью человеческой фигуры. «Превосходно, – думаю. – Так и надо, милые люди! Именно это – вот эти ночные беседы и есть то новое, то славное, чего хотели, ради чего погибали тысячи неведомых вам людей».

И вдруг слышу скептический возглас господина Александра:

– А наверное, сам он ни Добролюбова, ни Писарева не читает и не любит!

– Я, конечно, понял, что это про меня сказано. И ведь верно сказано. Ну что мне, человеку, изошрённому в тонкостях

и арабесках мысли, могут дать квадратные суждения Добролюбова и тяжкий писаревский «нигилизм», возрождённый ныне в таких махровых формах? Остановился под деревом, прислушиваюсь. Это нехорошо – подслушивать под окнами? Что ж делать! Суд должен быть гласным, а тут судили заочно, и я просто корректировал их ошибку. Я их не обвиняю, просто они незнакомы с процессуальной стороной уголовного судопроизводства.

– Странно это мне, – гудит господин Александров, – сами они отступились от старых своих учителей, не найдя и них, должно быть, столько правды, сколько нужно, а нас вот обращают к тому, от чего уже отрекаются.

А моя милая Анята шепеляво оправдывает меня:

– Он очень добрый, только ему скучно. Барыня гордая, строгая, требует, чтобы всё было аккуратно, а он рассеянный и беззаботный такой...

И густой голос курсистки Мозырь бьёт меня по темени тяжёлыми словами:

– Лицо у него блаженное, но бездарный он, должно быть.

Снова господин Александров:

– Теперь вот они опять, кажется, начинают восхищаться – пролетариат, демократия и прочее. А я думаю: «Очень хорошо, но вы кричали это куда громче четыре года назад тому и разбежались! Как же тут верить?» Не один я так думаю. Очень это мешает, правду говоря...

Я ушёл, находя, что достаточно с меня.

– С той поры родилось во мне надоедное желание убедить этих людей в моей искренности, в живом интересе к ним, к жизни их душ. Должно быть, делал я это очень неумно и неуклюже: через месяц, что ли, Анята смотрела на меня смущённо недоумевающими глазами, почти с испугом, жена обидно поджимала губы и проходила мимо какими-то особенными, изящно отрицающими шагами, – не без брезгливости, как мне кажется. Я чувствовал себя болваном, понимал, что всё это надобно бросить, и не мог...

– Особенно плохо приходилось мне на наших журфиксах, когда добрые знакомые за чаем и ужином начинали разговаривать о росте самоубийств, эволюции театра, о законе 9 ноября, музыке, стихах, о модных беллетристах и о развитии хулиганства. Одни утверждают: наступил момент всеобщего и общего упадка культуры; другие не менее доказательно говорят прямо противоположное: культура, опустясь сверху, растекается вширь, всасывается почвой. Жена моя утвердительно и благосклонно кивает головой – это у неё выходит очень красиво, но несколько однообразно, ибо всегда благосклонно, всегда утвердительно! Она говорит всему миру одно и то же: «Не надо распускаться!» Женщина английского воспитания. Прочная материя, но не очень греет. А я сидел и думал: «Всё это не то, и не этим мы утешимся, не этим обманем себя! Необходима другая ложь, более обаятельная...»

– Почему ложь? А видите ли, я не уверен, что выживу,

вынесу правду, если её мне покажут, – вернее – я уверен, что не помирюсь с правдой, и знаю, что бессилён бороться с нею. Непонятно? Вы вспомните хромого жандарма, его слова о нашем одиночестве в стране – вот вам намёк на правду, только намёк, а сама она необъятно страшнее, как мне кажется... Ибо к одиночеству надобно добавить и разброд между нами и разрыв наш с демократией, враждебный разрыв, хотя и скрываем это мы сами от себя, но – враждебный!..

– Я преувеличиваю? Может быть... Однако скажите: где у нас та идея, что могла бы организовать в непобедимое целое главную силу страны, снова дружественно слить нас с нею, с демократией?

Он торжествующе засмеялся, крепко потёр руки, потом продолжал тише и значительнее:

– Ведь эти, которые ликуют, утверждая, что мы незаметно, но неустанно двигаемся куда-то, ведь лгут же они! Для самоутешения лгут! Мы топчемся на одном месте в печальной пляске разрухи, и, посмотрите-ка, как мы испортили, изломали, растеряли наши оценки! Посмотрите, какие знакомства и дружбы стали возможны, какие речи ныне приемлемы и не возмущают! А пока мы тут растерянно валандаемся, за спиною у нас создаётся нечто, может быть, в корне отрицающее наше несчастное, неуверенное, мятущееся бытие...

– Анюта? Она ушла, и это разумно с её стороны. У меня к ней создалось странное чувство – смесь зависти и обиды. Как это так – для неё, горничной, жизнь цветёт улыбками, а

мне скучно? Что-то в этом роде чувствовал я, но значительно сложнее. И мне хотелось, скажу по совести, смутить её наивность: выберу, бывало, книжонку из современных, эдак попессимистичнее, помрачнее, что-нибудь «овеянное злым дыханием безнадёжности», и дам ей – вот, мол, Аня, прочитайте-ка! А она прочитает, молча положит книжку на стол мне и, когда спросишь: «Ну как, понравилось?» – отвечает скромно и непоколебимо:

– Нет.

– Почему же?

– Так, не нравится.

Только и всего. Разве покраснеет немножко в добавление.

Однажды я спросил её, – так себе, шутки ради:

– Вы что, Аня, думаете обо мне?

И с великим, несомненно искренним удивлением она ответила:

– Я ничего про вас не думаю, что вы, Иван Иванович!

Это «что вы» – характерно, не правда ли? И ведь ясно – она заподозрила меня в том, что я почувствовал отрицательное отношение ко мне. Конечно, это ясно? Да? В день расчёта она зашла ко мне проститься и первая протянула мне руку. На голове у неё была старая женина зелёная шляпа, а на руках перчатки жены.

– Почему вы уходите? – спросил я.

– Так уж, надобно, – ответила она, усмехаясь.

– Что ж вы думаете делать?

Удивлённо взглянув на меня, она сказала:

– Учиться.

– Нашли себе место?

– Нет ещё.

И, снова улыбнувшись очень милой улыбкой, успокоила меня:

– Я скоро найду!

Вот и всё. В сущности – пустая история, верно?

Господин Иванов поднялся со стула, оглядываясь, как человек, который не уверен, что исполнил всё, что хотел, и соображает, что, собственно, он забыл? Потирал рукою жёлтый лоб, кусая губы, а глаза его всё бегали по комнате, не останавливаясь ни на чём.

– Я даже готов сказать, что история-то довольно пошленькая, так себе – маленький прыщик на душе, истощённой жизнью... Но этот прыщик – он, чёрт его возьми, подчёркивает печальное, неизлечимое, то есть неустранимое одиночество человечье в этом наилучшем из миров...

– Мой приятель? – удивлённо ответил он вопросом на вопрос. – Какой приятель? Ах да, адвокат! Он застрелился, – я разве не сказал вам? Да, он кончил. Очень пил, кутил и дебоширил, а потом, с похмелья, пристрелил себя. Конечно – записка: «Прошу никого не винить» и, конечно, это ложь – самоубийцы всегда обвиняют, не могут не обвинять, что бы они ни писали! Самоубийство – деяние, обвиняющее всех и вся в безразличном отношении к человеческой жизни.

Подумав, он сказал с невесёлой гримасой:

– Читал я рассказ про мальчика, который обо всём, что ему не нравилось, говорил: «Не надо!» Если бы это отрицание имело какую-нибудь действенную силу, я сказал бы – не надо фордыбачить, надо жить скромнее, тише, это разумнее, проще! Не надо шума, не надо красивых слов, они – пустые!

– Да, да, – засмеялся он, – это верно! Давно ли мы кричали друг другу – «взмахнёмте крыльями могучей, вперёд на бой со злою тучей враждебных сил», а ныне вот хочется пожить тихонько, без полётов, сложив крылья, даже отложив их – не надо! Осмотреться надо – вот это так!

– А впрочем – я не знаю, что именно надо делать, это я так себе... Господин Александров, Анюта и курсистка Мозырь – они знают! Но то, что они знают, знал и я в их годы...

– Знаете, какие записки должны были бы оставлять самоубийцы? «Вкушая, вкусих мало мёда, и се аз умираю» – вот, простая правда, и так красиво сказана!

IV

...Иногда, по вечерам, ко мне приходит урядник Крохалёв, человек, отягчённый бременем власти и, конечно, пьяненький. Отворив дверь насколько возможно широко, он ставит на порог сначала одну короткую свою ногу, потом другую и, вставив себя в раму двери, держась правой рукой за шашку, а левой за косяк, – спрашивает:

– Александра, – ты дома?

Это – вне сомнений, я сижу у окна, и он ясно меня видит; мало того – ещё проходя по улице, он видел меня и зачем-то подмигнул рыжей, кустистой бровью.

– Вались, вались, власть, – говорю я, – ведь видишь, что дома!

Задевая шашкой за косяк, за стул, волоча по полу больные ноги, как слепой, вытянув левую руку вперёд, он подходит качаясь, грузно садится, говоря:

– Я обязан спросить...

Сняв фуражку, аккуратно укладывает на подоконник всегда одинаково – на улицу козырьком. Пыхтит, надувая квадратное, красное лицо с синими жилками на щеках и тяжёлым носом, опущенным на жёсткие, рыжие усы. Нос у него странный, кажется, что он наскоро и неумело вырезан из пемзы; уши большие, дряблые, в правом – серебряная казацкая серьга: кольцо с крестом внутри. Он весь сложен из кубов

разной величины, и череп у него кубический, и даже коленные чашки, а лапы – квадратные, причём пальцы на них кажутся излишними, нарушающими простенькую архитектуру урядникова тела.

– Устал! – говорит он и смотрит на меня большими мутными глазами так, точно это я причина его усталости.

– Чаю хочешь? – спрашиваю.

И всегда я слышу в ответ один и тот же каламбур:

– Я уж отчаялся.

Вздыхнув, он добавляет:

– Однако – давай, надо же чего-нибудь пить-то!

Потом сожалеет:

– Как это неделикатно, что ты водку не употребляешь!

Или хоть бы пиво...

– А отвалятся у тебя ноги от питья, – говорю я ему. Он смотрит на ноги – не то с любопытством, не то осуждая их – и сообщает:

– То же и доктор сказал: обязательно потеряю я ноги, вскорости даже. Верхом проедешь верстов пять, и так они, брат, затекают, просто – чугуны, право! Тыкнешь пальцем и ничего не чувствуешь – вот как даже!

О ногах он может говорить долго, подробно и картинно описывая их состояние от колен до пальцев. Посылаю сторожа Павлушу, дурачка и злейшего истребителя посуды, к лавочнику Верхотурову за брагой, а Крохалёв, расстёгивая пуговицы кожаной тужурки, говорит:

– Дознал я, что поп у ссыльных книги берёт...

– Ты мне прошлый раз сказал это.

– Сказал уж? Нехорошо.

Он неодобрительно качает головою, а я не понимаю, что плохо: болтливость Крохалёва или поведение попа?

С этого – или чего-нибудь подобного – и начинается кошмарное истечение нелепой русской тоски из широкой груди Крохалёва: он тяжело вздыхает, поддувая усы к носу, направляет их пальцем вправо и влево, серьга в ухе его качается.

– Опять я вчера прочитал несколько «Робинзон Крузо» – повесть, – начинает он, и в его мутных глазах, где-то в глубине их, разгораются, проблёскивают странные светлые искры, они напоминают железные опилки.

– Экой, брат, ум был в англичанине этом, удивляюсь я...

– Да уж ты удивлялся.

– И ещё буду! Безмерно буду удивляться, всегда! – настойчиво заявляет Крохалёв. – Если человек на острове, один совсем сделал всю жизнь себе – я могу ему удивляться! Пускай выдуманно, это и выдумать трудно...

Он фыркает, сдувая мух с больших усов, снимает тужурку и остаётся в толстом глухом жилете, который считает «лучше панцыря», потому что жилет этот заговорён одним знахарем кузнецом, да ещё простеган какой-то «напетою ниткой».

Крепко трёт ладонью тупой, покрытый густой щетиной подбородок и, понижая сиповатый голос, говорит:

– А у нас вот – иду я вчера улицей, лежит под плетнём Сёмка Стукалин, ободран весь, морда в крови – что такое? «Устал, отдыхаю». – «Отчего устал?» – «Жену бил». А где там – бил, когда сам весь испорчен...

Крохалёв трясёт ушами и, ядовито исказив лицо, спрашивает:

– Хорош проспект жизни?

И, точно тени с горы под вечер, одна за другой ползут тёмненькие картинки; всё знакомо, уныло, дико и неустранимо.

– Сегодня утром поп говорит: «Вы бы, Яков Спиридоныч, внушили вдове Хрущёва, чтобы она не избивала столь жестоко пасынков своих». Иду ко вдове, кричу и всё вообще, как надо, внушаю – сидит она, чёрт, в углу, молчит, да вдруг как завывла: «Бери, говорит, их, бей сам, а мне всё равно, я хоть и тебе зенки выцарапаю...»

Крохалёв помолчал, вздохнул.

– Конечно – дал ей раз по шее, не со зла, а больше для поддержки перспективы власти, – как тут оскорбление лица службы при исполнении долга, н-ну... Ты скажешь – нехорошо драться, что ж, лучше – арестовать и на суд её? Женщина – без ума, больная и подыхает с голоду...

Павлуша принёс большой туес браги, видимо, очень холодной – деревянный кружок туеса даже вспотел. Администратор наливает густое, тяжёлое пойло в стакан и угрюмо бормочет:

– Все это не моё дело – укрощать полоумных баб. А поп

суётся зря... Тоже и моё начальство: «У тебя, говорит, опять ссылные гуляют? Гляди, Яков!» Мне что же – связать их али ноги отрубить им?

Выпив сразу три стакана жгуче холодной влаги, он долго сосёт усы, тупо глядя в пол, и, сразу опьянев, бубнит:

– Будто бы... будто бы, а?

Моя фигура, видимо, расплывается перед ним – усиленно щурясь, он упорно оглядывает меня, точно собирает, составляет нечто бесформенное и разрушенное, и, похлопывая неверной лапой по ножнам шашки, ухмыляется, говоря:

– Вооружён, а? Воор-ружён властью – без послабления! Лександра – могу я сейчас пойти и сказать...

Он подбирает ноги, безуспешно стараясь встать, прикладывает ладонь ребром к виску и рапортует мне:

– Ваше благородие, – Лександра Силантьев, учитель, замечен мною в неблагонадёжном поведении – чисто, а?

И, уронив на колено руку, хохочет рыдающими звуками.

– Безо всякой причины – могу?

Как будто вдруг трезвеет и, строго двигая бровями, убеждает сам себя:

– Могу! Всякого могу стеснить и даже погубить... Ничего не скажешь против: наделён властью... всё могу, да!

Но это его не радует, а – только удивляет: брови поднимаются к седой и рыжей щетине на голове, он бормочет:

– Пьяный, ноги у меня больные, сердце заходит, а...

Наклоняется ко мне и, мигая большущими глазами, шё-

потом говорит:

– Намедни идёт мне встречу ссыльный этот, знакомец твой, Быков-слесарь, и – будто не видит меня. Слесарь, а – в шляпе и очки надел – ух ты, думаю, что я с тобой могу сделать! Всё могу сделать – знаешь? Так разгорелся, что хотел писать рапорт: слесарь Быков замечен мной, и – больше ничего! Пришёл домой, хватил вина – отлегло. Чёрт с ним. А то – Николка Лизунов этот: его в ссылку назначили, а он – песни поёт, прыгает козлом, радуется, стихи читает мне: остановил около погоста и говорит: «Яков Спиридоныч, отыскал я про тебя стихи – слушай!» И говорит:

У синего моря урядник стоит,
– А синее море, волнуясь, шумит...
И злоба урядника гложет,
Что шума унять он не может!

– погоди, говорю, запиши мне это своей рукой! Записал – вот!

Взяв с подоконника фуражку, он достаёт из-под её подкладки маленький, тщательно сложенный кусок бумаги и протягивает мне, говоря:

– Ему – всё равно, он – как муха, – отмахнёшь со лба, а она – на нос. «Знаешь, говорит, кто ты?» – это он мне. «Ты, говорит, погреб – сырой, тёмный погреб, лёду в нём нет, вся овощь прокисла, и даже крысы не живут». А то – увидит и – орёт: «Офеня, ступай в монастырь!»

– Офелия, должно быть.

– Всё равно мне. Я вот соберусь с фахтами да и ляпну рапортик про него: Лизунов Николай замечен мною – готово! Я ему покажу перспективу подалее здешнего верстов на тыщу!..

Он снова пьёт и снова жалуется, всё откровеннее обнаруживая трагическую путаницу в своей душе.

– Лександра – ты в бога не веришь, ты не понимаешь, как это всё сделано нехорошо – дана человеку власть! За что – дана? Лександра – человека бы спросили: «Убить можешь против евангелия?» Он бы сказал: «Нет, не могу!» А прикажут – пали! – он убьёт! Тогда говорят ему: «Вот тебе – на власть, бери ещё больше!» Для чего мне? Чтобы люди не убивали друг друга и не грабили. А я их – могу! Ты в бога не веришь – пойду я и скажу: «Учитель не верит в бога, а поп только притворяется, но также не верит», и мне – поверят, а вам – нет!

Вытянув руку, он со внезапной и неожиданной гордостью хлёстко бьёт кулаком по ладони и рычит:

– В-вот она – власть!

И тотчас же опадает, как перекисшее тесто; болтая кубической башкой, тарашит глаза, озирается.

– Это, брат, бремя и – неудобно-носимое... батюшка, отец Павел, милая душа, он правду говорит: «Властвуй кротостью и любовью...»

Снова рычит, ошетилившись и одичав, взмахивая правой

лапой:

– А когда так, просто, без любви, без кротости – вы, дьяволы, должны бояться, – сымай шапку издали! Уступи дорожку, если видишь – бремя, ноша на мне возложена! Я над собой не властен...

– Хрущёва не виновата, я ведь знаю. И Стукалин – тоже: женёнка у него распутница, краснорожая. И Мишка Юдин – с тоски озорник: погорел, разорён. И – все так, у всякого что-нибудь есть, все пред богом имеют оправдание – понял? А предо мной – нет у них оправдания...

Крохалёв, видимо, пробует сжать своё неуклюжее тело: подбирает ноги, сгибает шею, прячет голову в плечи, руки в карманы и, шевеля усами, долго молча смотрит на меня мёртвым взглядом, а потом бормочет снова:

– Ты сообрази – пред богом есть причина оправдания, а предо мной – нет! Стало быть – выше бога я, что ли?

Надув синие щёки, он пыхтит, неподвижно глядя на меня померкшими глазами, и потом продолжает:

– Сейчас – выну шашку и буду тебя рубить, как ты не веришь в бога. Спросят – за что изрубил парня? Объясню что-нибудь и – чист! А ведь я же знаю, Лександра, знаю я, что ты для людей – лучше меня, ну – знаю я это!

Опьянение Крохалёва всегда останавливается на каком-то неподвижном градусе и как бы замирает на нём, не падая, не повышаясь. Оно – густое, тёмное, близкое безумию; однажды он, будучи в таком состоянии, зарубил на улице Пи-

сареву свинью, в другой раз – запалил стог сена, а в третий – как был в форме, пошёл пешком через быструю Усу-реку и едва не утонул, зыряне⁸ вытащили. В этом же неменяемом виде, с год тому назад, он, неожиданно для села, да, вероятно, и для себя самого, – обвенчался с бобылкой Полюдовой, сельской сводней и устроительницей вечеринок, бабой пьяной, хитрой и распутной. К его счастью, она в два месяца супружеской жизни спилась и умерла от удара; Крохалёв с честью похоронил её, шёл за гробом трезвый и печальный, а потом поставил над могилой её дубовый крест, собственно-ручно написав на нём сажей с маслом:

«Сдзь погребенн прах Матрены Пол» – дальше фамилия замазана чёрным пятном и дописано так:

«Спиридоновой жены Урядника Якова Спиридонова упокой господи с праведниками».

Трезвый, он – угрюм, малоречив и почти не виден на людях, а появляясь, ходит наклоня голову, точно кабан, и здоровается со встречными молча, поднимая руку к шапке, шевеля усами и посапывая. Мужики боятся его, избегают встреч с ним, но встретив – кланяются низко и почтительно, а за глаза зовут его – «Яшка Комолый», «Дурашный». Напившись, он всегда вспоминает это:

– Тебя, Александра, уважают за твой характер, а меня – я, брат, знаю! – меня – нет! Как вытащили меня из воды зыряне, положили на берег и эдак поглядели друг на друга – де-

⁸ Прежнее название народа коми – *Ред*.

сказать, сделали дело, есть чем хвастать, поглядели да – в лес! Так я и не знаю, кто они, откуда. Конечно, они дикой народ – ну, я бы мог рапорт написать, дали бы им награду...

Он снова молчит, а усы его расползаются, открывая губы, красная рожа силится изобразить улыбку, и глаза щурятся, точно он на свет смотрит.

– Вот опять: за спасение утопающего – награда, за поимку беглого – тоже, и за убийство – награда, ежели служебный человек убьёт. А ежели ты – тебе каторга, да, хоть ты тоже – служебный... и попу – каторга будет, даром что он богу служит...

Схватив туес лапами, он пьёт через край, выпячивая кадык, по подбородку текут две рыжие струи, обливая жилет. Пьёт долго, заглотавшись – фыркает, отдувается и продолжает распутывать свои тёмные мысли.

– Что я говорил, Лександра?

Подсказываю.

– Ну – объясни мне правильно, бесстрашно объясни, как учитель: поп служит богу и народу, ты – тоже народу, а – я? Я вас выше, верно?

В десятый раз я говорю ему как могу дружелюбно и убедительно:

– Бросай-ка свою службу, Яков, а то с этими мыслями натворишь ты великих грехов против людей или попадёшь в больницу...

Это его сердит, тяжело ворочаясь на стуле, он начинает

ругаться:

– А-а, черти лыковые, думаете – не понимаю, чего вам надобно? Чтобы меня не было, чтобы кто поглупее, попроще меня, обойти бы вам его, в свою веру обратить, н-да? Ну – нет...

И всегда после этого впадает в плаксивый тон:

– Эх – ты, справедливость! Меня не изгонять надо, не знай куда, меня надобно пожалеть от сердца, потому несу бремя неудобноносимое, чёрт! Спроси попа, он меня больше понимает, чем ты, злыдень!

Долго и противно – хотя искренно – он говорит жалкие слова, потом неожиданно снова возвращается к своему основному вопросу:

– Откуда мне дана власть?

Он знает откуда и, называя источник власти, всегда почтительно прикладывает ладонь к виску, но тотчас же, понизив голос до таинственного шёпота, говорит:

– Ведь он же меня не знает, не видал, а? Начальству – не известно это и даже мне, понял? Кто я такой – кому это известно? Я сам себе не известен, а – имею власть, вот револьвер – видал?

Револьвера я боюсь; у него этот инструмент обладает чрезвычайно самостоятельным характером: однажды Крохалёв уронил его на пол, а револьвер завертелся, подпрыгивая, и начал сам палить во все стороны, пока не расстрелял всю обойму. Я во время этой баталии вскочил на стол, а мой

гость, синий со страха, белкой вспрыгнул на подоконник, опрокинул все горшки с цветами на улицу и, сидя на подоконнике, безуспешно махал рукою на своё расстрелявшееся оружие. Потом, отрезвевший от страха, поднял револьвер, осмотрел его и объявил:

– Это – кузнеца Макарки дело! Не иначе как он пружину спортил колдовством своим, рысьи зенки!

Теперь, вытащив этот самострел, он с презрением вертит его в руках, мигая глазами и насупив брови.

– Смотри, – говорю я, отходя, – опять он у тебя взбесится!

– Не заряжен. Я им теперь орехи колю, видишь – ручка-то?

И, продолжая рассматривать чёрную тупую штуку, он всё более хмурится, сам тупея и словно линия.

– На тебя он похож! – замечаю я.

– На собаку, – говорит Крохалёв, вздыхая; прячет оружие и допивает брагу медленными глотками...

Снова из-под щетины усов выползают сиповатые слова, сырые, тяжёлые:

– Ты думаешь – я напился, оттого и говорю? Я, брат, всегда говорю сам с собой... с попом тоже. Ну, он поп осторожный, из него соку не выжмешь, он – от евангелия отвечает, дескать – я ничего не знаю, а вот Христос, он так говорил... да! А с тобой я беседую, потому что ты не боишься и от себя иное сказать... хотя мало ты говоришь, тоже!

– Еду я верхом и думаю: боятся все друг друга, оттого

и всё это... недоверие, бунт, грабежи, всякое несогласие. Нельзя согласиться, когда все молчат и неизвестно о чём думает каждый. И все – враги. Так бы поскакал, поскакал и – всех по мордам: живи дружно, сукины сыны я вас!

Из его рта лезет трескучая цепь ругательств, и в каждом звене тупо звучит отчаяние, бессильная, безумная злость, усталость, тоска.

– Чего расползаетесь во все стороны, как тараканы перед пожаром, так вашу... На место! Смирно-о! Тихо!

Ярость его тяжела, но – сыра, неподвижна и не пугает; он стучит концом шашки по полу, трясёт серьгой, надувается, фыркает, брызгая слюной, а оловянные глаза – мертвы и слепы. Потом, усталый, долго отдувается, опадает и молчит, посапывая изрытым ямками губкообразным носом.

Угнетаемый своими думами, он, видимо, забывает обо мне, смотрит в пол и ворчит, выдувая волосы усов, загнувшиеся в рот ему.

– Отягчили меня, вот! А везде – несоответствие между всем. Тебе дана власть. А поп – своё: несть власти, аще не от бога. Аще... Ежели я донесу, что священник Павел Полиевктов валандается с ссыльными, – вот те и покажут аще! А не донесу – мне покажут...

И снова впадает в тон жалобы:

– Лександра, – это же надо объяснить до самого конца глубины: ведь вот и грехи и бес тоже власть над человеком имеют, а он говорит – нет власти, аще не от бога! И надо мной

власть, и у меня над людьми – как же, брат? Это же надо решить...

На улице темнеет, и он точно растёт, разбухая во тьме. Толстая жилистая шея не держит его тяжёлой головы, щетина подбородка царапает жилет.

– Ну, Яков Спиридонов, мне надо заниматься – говорю я.

– Травками, букашками, – бормочет он с укором. – А когда – человеком, а? Когда вы человеком заниматься начнёте?

Этих упреков – ещё на четверть часа. Я уж не возражаю, делая вид, что занят гербарием, он сипит, ворчит, всё понижая голос, потом умолкает на минуту, на две и наконец, тяжело поднявшись на ноги, говорит:

– Ну, – иду, иду... Ладно.

Жмёт руку и говорит отдельно:

– Не-удо-бо-но-си-мо, – а? Слово-то придумано – с лисий хвост... Прощай, Лександра! Спасибо на угощении... Скучно, чай, тебе, а? Женился бы ты, а то так бы завёл кралю... Завтра мне в Туран ехать, поймали там какого-то Робинзона в лесу, в стогу жил... Испортили шкуру несколько... К чему тебе жучки эти и травки?

Уходя, он всегда старается сказать что-нибудь насмешливое, а то сообщит нечто служебное; всегда в этих случаях голос его звучит фальшиво и натянуто. И порою я жду, что он обругает, толкнёт или ударит меня, а то схватит со стола что-нибудь и бросит на пол.

Наконец он, тяжело волоча по полу больные ноги, выва-

ливается за дверь, а я, оставшись один, смотрю вслед этому кошмару наяву, и мне хочется топтать ногами, плакать и орать в чье-то плоское, безглазое, каменное и тоже кошмарное лицо:

– Что вы делаете с людьми, будь вы прокляты? Опомнитесь!